This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

PG3470
U8Z64

KOROLENKO

OTOSHEDSHIE

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

~~0547~~

B

5

Изданіе редакціи журнала „РУССКОЕ БОГАТСТВО“.

К 68 Korolenko, Vladimir Galaktionovich

Владиміръ Короленко.

Отошедшіе.

Объ Успенскомъ.

О Чернышевскомъ.

О Чеховѣ.

Библиотека 12-й школы Ленинград № 5787

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Первой Спб. Трудовой Артели.—Лиговская ул., 34.
1908.

PG3470
U8Z64

О Глѣбѣ Ивановичѣ Успенскомъ

(Черты изъ личныхъ воспоминаній).

О Глѣбѣ Ивановичѣ Успенскомъ.

(Черты изъ личныхъ воспоминаній).

Есть люди, подобные монетамъ, на которыхъ чеканится одно и то же изображеніе. Другіе похожи на медали, выбиваемыя только для даннаго случая.

Гофманъ.

I.

Глѣбъ Ивановичъ Успенскій былъ именно такой медалью. Онъ былъ одинъ, самъ по себѣ, ни на кого не былъ похожъ, и никто не былъ похожъ на него. Это былъ уникъ человѣческой породы, рѣдкой красоты и рѣдкаго нравственнаго достоинства.

Нужно съ грустью признаться, что реальная личность писателя, художника, артиста—рѣдко совпадаетъ съ тѣмъ представленіемъ, какое мы составляемъ по ихъ произведеніямъ. Во время творчества идей, звуковъ, образовъ мы становимся нѣсколько выше нашей средней личности. Мы какъ бы уходимъ въ маленькую горную часовенку, отгороженную отъ нашихъ будней. А затѣмъ «когда не требуетъ поэта къ священной жертвѣ Аполлонъ», мы опять спускаемся съ этихъ вершинъ, которыя,—велики онѣ или малы,—все таки составляютъ выс-

шія точки нашего личнаго существованія. Иной разъ этотъ обычный уровень очень удаленъ отъ вершинъ, и вотъ почему такъ часто первое впечатлѣніе при встрѣчѣ съ писателемъ — бываетъ легкое движеніе разочарованія: намъ трудно связать въ одно цѣлое наше идеальное представленіе съ реальною личностью.

Но бываютъ дорогія и рѣдкія исключенія, когда оба эти представленія совпадаютъ вполнѣ и нераздѣльно. Такимъ именно исключеніемъ былъ Глѣбъ Ивановичъ Успенскій.

Во второй половинѣ 80-хъ годовъ я жилъ въ Нижнемъ-Новгородѣ, и среди моихъ близкихъ знакомыхъ былъ провинціальный писатель, который въ то время велъ литературный отдѣлъ въ одной изъ приволжскихъ газетъ. Всякій, кто жилъ уже сознательной жизнью въ то смутное и туманное время, помнитъ общій тонъ тогдашняго настроенія. У такъ называемой интеллигенціи начиналась съ «меньшимъ братомъ» крупная ссора (о которой послѣдній, впрочемъ, по обыкновенію даже не зналъ). Хотя Успенскій никогда не идеализировалъ мужика, наоборотъ, съ большой горечью и силой говорилъ о «мужицкомъ свинствѣ» и о распоясовской темнотѣ даже въ періодъ наибольшаго увлеченія «устоями» и тайнами «народной правды», тѣмъ не менѣе въ это время онъ всей силой своего огромнаго таланта продолжалъ призывать вниманіе общества ко всѣмъ вопросамъ народной жизни, со всѣми ея болящими противорѣчіями и во всей ея связи съ интеллигентною совѣстью и мыслью. Такъ что съ реакціей противъ мужика начиналась реакція и противъ Успенскаго: къ нему обращались запросы, упреки, письма. Въ одной изъ своихъ статей въ «Отеч. Запискахъ» Глѣбъ Ивановичъ съ большимъ остроуміемъ отмѣчалъ и отражалъ это настроеніе

при самомъ его возникновеніи. Онъ характеризовалъ его словами: «надо и намъ». Что въ самомъ дѣлѣ: мужикъ заполонилъ всю литературу. Мужикъ да мужикъ, народъ да народъ. «*Мы* тоже хотимъ... Надо и намъ»... Нѣтъ сомнѣнія, что у этого настроенія были свои причины, пожалуй, далеко не безосновательныя. Еще недавно многіе, требовавшіе «и себѣ» красоты, мечты, яркихъ красокъ или вниманія—не только не требовали этого, но даже, забывая о себѣ, отдавали все личное меньшему брату. Но жизнь, обманутыя ожиданія завели ихъ въ тупой переулокъ, изъ котораго какъ будто не было выхода... Началось *само*углубленіе, *само*усовершенствованіе, рѣшеніе вопросовъ изолированной личности, внѣ связи съ общественными вопросами, до тѣхъ поръ властно занимавшими умы и сердца. «Восемьдесятъ тысячъ верстъ вокругъ самого себя»—съ обычною мѣткостью характеризовалъ Глѣбъ Ивановичъ одну сторону этого настроенія. Огорченный и разочарованный, русскій интеллигентный человѣкъ углублялся въ себя, уходилъ въ культурные скиты или обиженно требовалъ «новой красоты», становясь особенно капризнымъ относительно эстетики и формы.

Отчасти это настроеніе переживалъ и мой пріятель. Кромѣ того, онъ былъ хорошо знакомъ съ иностранными литературами, относительно же русской въ его чтеніи были пробѣлы. Въ томъ числѣ и Успенскаго въ цѣломъ онъ не зналъ и раздѣлялъ предубѣжденіе противъ его настойчивыхъ призывовъ «все-таки смотрѣть на мужика».

Однажды онъ вошелъ въ мою гостиную, когда за чайнымъ столомъ, въ кружкѣ моей семьи и знакомыхъ, сидѣлъ Глѣбъ Ивановичъ, только что пріѣхавшій въ Нижній-Новгородъ. Онъ говорилъ о чемъ-то своимъ

обычнымъ тономъ, въ которомъ проглядывала какая-то сдержанная, глубокая печаль, по временамъ вдругъ уступавшая мѣсто вспышкамъ особеннаго, только Успенскому присущаго, тихаго юмора. Я представилъ своего пріятеля. Успенскій всталъ, пожалъ ему руку, невнятно пробормоталъ свою фамилію и опять обратился къ занимавшей его темѣ, которая уже овладѣла вниманіемъ слушателей. Взглянувъ случайно на своего пріятеля, я замѣтилъ на его лицѣ напряженное вниманіе, смѣшанное съ чрезвычайнымъ изумленіемъ. Черезъ четверть часа онъ поднялся съ своего мѣста и, выйдя въ сосѣднюю комнату, поманилъ меня за собою.

— Кто это у васъ?—спросилъ онъ съ величайшимъ любопытствомъ.—Я не разслышалъ его фамиліи.

— А что? Почему вы спрашиваете такимъ тономъ?

— Это какой-то необыкновенный человѣкъ. Отъ него... вѣетъ геніальностію.

— Поздравляю васъ, — отвѣтилъ я, смѣясь,—вы познакомились съ Глѣбомъ Ивановичемъ Успенскимъ.

Послѣ этого, мой пріятель нѣсколько недѣль запоемъ изучалъ Успенскаго, все болѣе и болѣе увлекаясь, и въ приволжскихъ газетахъ появились статьи новаго страстнаго поклонника Глѣба Ивановича. Онъ былъ завоеванъ навсегда, и притомъ не писатель предрасположилъ его къ личности, а наоборотъ, необыкновенное обаяніе личности обратило скептика къ изученію произведеній писателя.

Глѣбъ Ивановичъ Успенскій не сказался въ своихъ произведеніяхъ со всею силой своей необыкновенной личности и своего таланта. Чистый образъ, тщательно выношенный въ душѣ и выплавленный изъ однороднаго художественнаго матеріала, вообще легче привлекаетъ вниманіе и живетъ дольше, чѣмъ та смѣсь образа и

публицистики, посредствомъ которой работалъ Успенскій. Ему нужна была не красота, не цѣльность впечатлѣнія, не самый образъ. Съ лихорадочной страстностью среди обломковъ стараго онъ искалъ матеріаловъ для созиданія новой совѣсти, правилъ для новой жизни или хотя бы для новыхъ исканій этой жизни. То, что онъ предполагалъ извѣстнымъ, общимъ у себя и читателя, надъ тѣмъ онъ не останавливался для детальной отдѣлки, то отмѣчалъ только бѣглымъ штрихомъ, заполнялъ кое-какъ, лишь бы не оставить пустоты. Наоборотъ, то, что еще только мелькало впереди смутными очертаніями будущей правды,—за тѣмъ онъ гнался страстно и торопливо, не выжидая, пока оно самопроизвольно сложится въ душѣ въ ясный, самодовлѣющій образъ. Онъ пытался обрисовать его поскорѣе для насущныхъ надобностей данной исторической минуты тѣми словами, какія первыя приходили на умъ. Отъ этого онъ часто повторялся, все усиливая находимыя идеи, заставлялъ читателя переживать съ нимъ вмѣстѣ и его поиски, и его разочарованія, и всю подготовительную работу, пускалъ своихъ жильцовъ, когда у постройки еще не были убраны лѣса. Все это искупалось важностью и насущностью занимавшихъ Успенскаго вопросовъ, а общность настроеній писателя и его читателей заполняла пробѣлы въ этой торопливой работѣ. Теперь, когда настроеніе измѣнилось, пробѣлы выступаютъ яснѣе, и, въ цѣломъ, Успенскій становится «труденъ». Однако, всякій, кто не побоится лѣсовъ и видимаго безпорядка въ этой огромной работѣ—наткнется здѣсь и на замѣчательные образы, носящіе печать болѣе чѣмъ крупнаго таланта, и на глубокія, прямо «проникновенныя» мысли (напр., во «Власти земли», этой философіи и эпопеѣ земледѣльческаго труда)... Но осо-

бенно интересна во всемъ этомъ—самая личность автора, съ ея своеобразной глубиной, съ ея необыкновенной чуткостью къ вопросамъ совѣсти, съ ея смятеніемъ и болью...

И всякій, кто зналъ Успенскаго лично, кто помнитъ это обаяніе и значительность основного душевнаго тона, который сразу чувствовался во всякомъ словѣ, движеніи, взглядѣ задумчивыхъ глазъ, въ самомъ даже молчаніи Успенскаго,—согласится съ отзывомъ моего пріятеля: отъ этой своеобразной, единственной въ своемъ родѣ личности дѣйствительно «вѣяло геніальностію»...

II.

Съ Глѣбомъ Ивановичемъ Успенскимъ я познакомился лично въ мартѣ или апрѣлѣ 1887 года.

Въ одну трудную эпоху моей жизни, я получилъ отъ него черезъ третьи или четвертыя руки нѣсколько словъ привѣта и ободренія, по поводу моихъ первыхъ литературныхъ опытовъ. Это вниманіе любимаго писателя къ неизвѣстному и затерянному въ ссылкѣ молодому человѣку, и та заботливость, съ которой онъ старался переслать свой привѣтъ черезъ разныя посредствующія инстанціи,—меня глубоко тронули и залегли въ моей душѣ чувствомъ особой благодарности не только къ писателю, но и къ человѣку. Съ этимъ чувствомъ я подымался въ 5-й (кажется) этажъ большого дома на Васильевскомъ островѣ, гдѣ въ тѣ годы жилъ Успенскій. Въ то время портреты писателей не были такъ распространены, какъ теперь, и я не имѣлъ ни малѣйшаго понятія о наружности Успенскаго. Въ передней, куда я вошелъ, меня встрѣтилъ кто-то изъ молодежи, наполнявшей сосѣднія комнаты. Былъ, помнится, какой-то се-

мейный праздникъ, въ квартирѣ было весело и шумно. Надъ семьей тогда не чувствовалось еще приближеніе грозы, которая уже готовилась въ близкомъ будущемъ, и молодежь беззаботно веселилась, наполняя шумомъ всю квартиру. Я назвалъ свою фамилію, и черезъ нѣсколько минутъ очутился въ объятіяхъ человѣка, котораго въ первое время не успѣлъ хорошенько разсмотрѣть. Только когда онъ отодвинулся, чтобы взглянуть мнѣ въ лицо, я увидѣлъ въ первый разъ его удивительные глаза, широко разставленные и глубокіе. Въ нихъ было что-то ласковое и печальное въ то же время; лицо показалось мнѣ усталымъ. Помню, однако, что оно какъ то сразу, безъ всякаго промежуточнаго впечатлѣнія и разлада,—слилось со всѣмъ лучшимъ, что отлагалось въ душѣ отъ его произведеній. Мнѣ казалось только, что лицо и взглядъ автора «Будки», «Разоренья» и столькихъ картинъ, полныхъ яркаго и своеобразнаго юмора—должны бы быть нѣсколько веселѣе. Однако я чувствовалъ, что отъ этого оно не стало бы лучше, чѣмъ съ этой грустью, сосредоточенной, вдумчивой и какъ будто давно отложившейся на самомъ днѣ этой глубокой души.

Наскоро познакомивъ со своей семьей, Глѣбъ Ивановичъ увелъ меня въ свою маленькую рабочую комнатку налѣво отъ входа. Усадивъ меня, онъ сѣлъ самъ и закурилъ папиросу. Первую минуту оба мы молчали, но отъ этого молчанія мнѣ совсѣмъ не было неловко. Наоборотъ, съ первой же минуты я почувствовалъ себя близкимъ къ этому человѣку съ печальными глазами и ласковой улыбкой, какъ будто мы были давно знакомы. Онъ курилъ и прислушивался къ веселому шуму молодежи, доносившемуся изъ сосѣднихъ комнатъ. Когда взрывы веселья становились особенно ярки, лицо Глѣба

Ивановича какъ-то внезапно свѣтлѣло, и онъ глядѣлъ на меня смягченнымъ взглядомъ, какъ будто приглашая принять участіе въ этой общей радости. Потомъ, какъ бы продолжая давно начатый разговоръ, онъ разсказалъ мнѣ о своихъ дѣтяхъ, объ ихъ характерахъ и о причинѣ семейнаго праздника...

Подробностей этого перваго разговора я, почему-то, не помню такъ ясно, какъ запомнились мнѣ впослѣдствіи многія другія наши бесѣды. Помню только, что уже въ серединѣ вечера разговоръ коснулся Достоевскаго.

— Вы его любите?—спросилъ Глѣбъ Ивановичъ.

Я отвѣтилъ, что не люблю, но нѣкоторыя вещи его, напримѣръ „Преступленіе и наказаніе“, перечитываю съ величайшимъ интересомъ.

— Перечитываете?—переспросилъ меня Успенскій какъ будто съ удивленіемъ и потомъ, слѣдя за дымомъ папиросы своими задумчивыми глазами, сказалъ:

— А я не могу... Знаете ли... у меня особенное ощущеніе... Иногда ѣдешь въ поѣздѣ... И задремлешь... И вдругъ чувствуешь, что господинъ, сидѣвшій противъ тебя... самый обыкновенный господинъ... даже съ добрымъ лицомъ... И вдругъ тянется къ тебѣ рукой... и прямо... прямо за горло хочетъ схватить... или что-то сдѣлать надъ тобой... И не можешь никакъ двинуться.

Онъ говорилъ это такъ выразительно и такъ глядѣлъ своими большими глазами, что я, какъ бы подъ внушеніемъ, самъ почувствовалъ легкое вѣяніе этого кошмара и долженъ былъ согласиться, что это описаніе очень близко къ ощущенію, которое испытываешь порой при чтеніи Достоевскаго.

— А всетаки, есть много правды,—возразилъ я.

— Правды?..

Глѣбъ Ивановичъ задумался и потомъ, указывая

двумя пальцами въ тѣсное пространство между открытой дверью кабинета и стѣной,—сказалъ:

— Посмотрите вотъ сюда... Много ли тутъ за дверью уставится?

— Конечно, немного,—отвѣтилъ я, еще не понимая этого страннаго перехода мысли.

— Пара калошъ...

— Пожалуй.

— Положительно: пара калошъ. Ничего больше...

И вдругъ, повернувшись ко мнѣ лицомъ и оживляясь, онъ докончилъ:

— А онъ сюда столько набьетъ... человѣческаго страданія, горя... подлости человѣческой... что прямо на четыре каменныхъ дома хватитъ.

Я невольно улыбнулся. Впослѣдствіи мнѣ пришлось не разъ встрѣчаться съ этимъ изумительнымъ умѣніемъ Успенскаго—двумя-тремя словами, комбинаціей первыхъ попавшихся на глаза предметовъ,—объяснять и иллюстрировать сложныя явленія, для которыхъ другимъ нужны длинныя разсужденія и множество словъ... Его сужденія всегда бывали кратки, образны, били въ самую сущность явленія и часто освѣщали его съ неожиданной стороны. И никогда въ нихъ не было того легкаго остроумія, въ которомъ чувствуется равнодушіе къ предмету и безразличная игра ума. До сихъ поръ я помню выраженіе лица, съ какимъ онъ произносилъ эти слова: «страданіе», «горе», «подлость человѣческая»—въ приведенномъ отзывѣ о Достоевскомъ. Для него это не были простыя понятія: каждое изъ нихъ отражалось болью на его выразительномъ лицѣ...

Можетъ быть, въ этой особенной чуткости сказывалась уже близкая болѣзнь... Но въ то время мнѣ это не приходило въ голову, тѣмъ болѣе, что и эта печаль,

и эта чуткость сливались въ цѣльный образъ, слишкомъ привлекательный, чтобы казаться болѣзненнымъ. Во время разговора онъ страшно много курилъ, и здѣсь опять у него былъ свой особенный, оригинальный пріемъ: докуривъ папиросу до половины, онъ вынималъ изъ нея своими тонкими, нервными пальцами картонный мундштукъ и какъ-то особенно-ловко надѣвалъ недокуренную папиросу на другую, новую. Съ этой послѣдней черезъ нѣкоторое время онъ продѣлывалъ то же самое, и такимъ образомъ его папироса не уменьшалась, а наоборотъ, достигала иногда необычайныхъ размѣровъ...

Впослѣдствіи много разъ приходилось мнѣ проводить время съ Глѣбомъ Ивановичемъ, и почти всегда при этомъ я видѣлъ у него во рту эту длинную составную папиросу, которую онъ все дополнялъ съ привычной ловкостью. Нерѣдко также около него стояла бутылка вина или пива... Очень можетъ быть, даже навѣрное, что и это неумѣренное куренье, и вино оказали свое вредное вліяніе и ускорили наступленіе болѣзни. Но меня всегда коробитъ и оскорбляетъ, когда я слышу или читаю объ алкоголизмѣ или «обычномъ порокѣ талантливыхъ людей» въ примѣненіи къ Глѣбу Ивановичу Успенскому. Я лично пьянымъ его никогда не видѣлъ... Мнѣ кажется, что у него не было любви ни къ вину, ни къ вызываемому виномъ измѣненію личности. Да такого измѣненія и не было: онъ оставался все тѣмъ же, съ тѣмъ же грустно-задумчивымъ взглядомъ и той же улыбкой... Вообще, когда теперь я вспоминаю эту папиросу и вино и то, что я, безъ привычки, тоже курилъ и пилъ въ присутствіи Глѣба Ивановича, и что ни куренье, ни табакъ не оказывали на меня никакого дѣйствія,—то мнѣ кажется, что это было какое-то ров-

ное, безпрестанное и чрезвычайно интенсивное горѣніе мозга и нервовъ, заразительное, вовлекавшее тотчасъ же и другихъ въ свою сферу. И въ этомъ горѣніи совершенно утопало впечатлѣніе наркотиковъ. Это были просто капли, шипѣвшія на раскаленной плитѣ. Но плита раскалялась не ими...

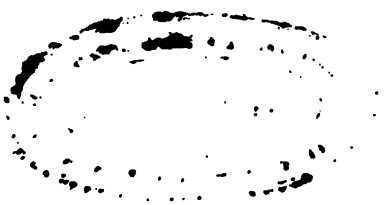
Разговоръ Успенскаго былъ тоже совершенно особенный. Разсказывая что-нибудь, онъ глядѣлъ на собесѣдника своимъ глубокимъ, мерцающимъ взглядомъ, говорилъ тихо, какъ-будто сквозь слегка сжатые зубы и при этомъ жестикулировалъ какъ-то особенно, то и дѣло прикладывая два пальца къ груди, какъ-будто указывая на какую-то боль, которую онъ чувствовалъ отъ собственныхъ разсказовъ гдѣ-то въ области сердца. Его рѣчь была отрывиста, безъ закругленныхъ періодовъ, полная причудливыхъ изгибовъ и неожиданныхъ опредѣленій, часто вспыхивала своеобразнымъ юморомъ. И никогда она не производила впечатлѣнія простой болтовни на досугѣ, среди которой такъ хорошо иногда отдохнуть отъ работы и отъ мыслей. Его молчаніе было отмѣчено тѣми же чертами, какъ и его разговоръ. Въ его отрывистыхъ замѣчаніяхъ и въ его молчаніи чувствовалась какая-то неразрывная связь. Въ одномъ изъ своихъ очерковъ онъ говоритъ, что иногда можно «молчать о многомъ». Дѣйствительно, бываютъ разговоры, въ которыхъ содержанія меньше, чѣмъ въ полномъ молчаніи, и бываетъ молчаніе, въ которомъ ходъ мысли чувствуется яснѣе, чѣмъ въ иномъ даже умномъ разговорѣ. Такое именно значительное молчаніе чувствовалось въ паузахъ Успенскаго. Его рѣчь и его паузы продолжали другъ друга. Мысль его шла, какъ рѣка, которая то течетъ на поверхности, то исчезаетъ подъ землею, чтобы черезъ нѣкоторое время опять сверкнуть

уже въ другомъ мѣстѣ. Разъ вслушавшись въ основное содержаніе занимавшей его мысли, вы уже были во власти этого теченія, во время самыхъ паузъ уже чувствовали это «молчаніе объ многомъ» и невольно ждали, гдѣ эта неотдыхающая мысль опять сверкнетъ на поверхности какимъ-нибудь неожиданнымъ поворотомъ, образомъ, картиной, иногда въ одной короткой фразѣ или даже въ одномъ только словѣ.

Я думаю, что эта манера молчать такъ же утомительна, какъ и напряженная работа. А между тѣмъ, это было нормальное состояніе Успенскаго, по крайней мѣрѣ въ томъ періодѣ его жизни, когда я зналъ его. Для него почти не существовало тѣхъ минутъ полнаго безразличія организма, когда въ немъ совершаются, не задѣвая сознанія, одни только растительные, возстановляющіе процессы. Нѣкоторыя „житія" рисуютъ намъ подвижниковъ, никогда не разстававшихся съ молитвой, которая входила даже въ ихъ забытье и сонъ. Совершенно также нѣкоторые вопросы совѣсти и мысли никогда не засыпали въ Успенскомъ. И это-то, я думаю, придавало такую выдѣляющую значительность его лицу, его словамъ, его взгляду, самому его молчанію...

Но это же и сжигало его неустаннымъ огнемъ...

Все это, разумѣется, сложилось для меня въ полное, сознательное впечатлѣніе только впослѣдствіи, при ближайшемъ знакомствѣ съ Успенскимъ, и даже продолжаетъ выясняться теперь, когда я вглядываюсь въ свои воспоминанія. Помню, однако, что въ этотъ первый вечеръ, выйдя на пустынную линію Васильевскаго острова, я очень удивился, взглянувъ на часы,—какъ уже поздно и какъ скоро прошло время. И я долго шелъ пѣшкомъ, останавливаясь то на набережной, то на мосту, и ловилъ себя на этихъ невольныхъ остановкахъ, во время



которыхъ, глядя на Неву, на дома, на ночное небо, я въ сущности былъ занятъ только переполнявшимъ меня впечатлѣніемъ отъ этой своеобразной личности, съ ея совершенно особеннымъ душевнымъ складомъ, значительнымъ, глубокимъ и обаятельнымъ.

III.

Въ послѣдующіе годы мы встрѣчались много разъ то въ Петербургѣ (во время моихъ пріѣздовъ), то въ Москвѣ, а затѣмъ нѣсколько разъ онъ гостилъ у насъ въ Нижнемъ. Одно изъ этихъ посѣщеній осталось въ моей памяти съ особенной ясностью, можетъ быть оттого, что нѣкоторыя поразившія меня черточки я тогда же, подъ первымъ впечатлѣніемъ, набросалъ въ своей записной книжкѣ, а можетъ быть и потому еще, что отъ него осталось воспоминаніе, еще не омраченное тѣнью роковой болѣзни.

Это было въ 1887 году, если не ошибаюсь, въ концѣ іюля или началѣ августа. Пріѣхалъ Успенскій въ Нижній-Новгородъ среди чудесныхъ дней ранней осени, ласковыхъ и теплыхъ. Въ первыя минуты онъ показался мнѣ какъ-то особенно веселымъ, радостнымъ, оживленнымъ. Отдѣлавшись отъ срочной работы, онъ пріѣхалъ на пароходѣ и на слѣдующій день собирался ѣхать дальше, внизъ по Волгѣ. Въ планъ его поѣздки входили: Казань, Симбирскъ, Самара, Саратовъ, Царицынъ. Изъ Царицына онъ долженъ былъ проѣхать въ Калачъ, на Донъ, и затѣмъ куда-то по желѣзнымъ дорогамъ, съ намѣченнными остановками. Онъ чувствовалъ себя отлично, и отъ него вѣяло свѣжестью и впечатлѣніями Волги.

Однако, у него никогда не бывало такого времени, когда бы онъ былъ совершенно свободенъ отъ какой-

Библиотека 12-й школы Смольн. р-на
№ 5787
Ленинград

нибудь «господствующей идеи», служившей центромъ его настроенія. И, дѣйствительно, послѣ первыхъ радостныхъ привѣтствій онъ посмотрѣлъ на меня своими выразительными глазами, съ притаившейся въ нихъ тревожной печалью, и спросилъ:

— Читали вы лекцію г-жи NN?

Я лекціи не читалъ, но встрѣчалъ кое-что объ ней въ газетахъ. Это было время сильнаго увлеченія теоріями Ломброзо и антропологической школы. Лекція была первоначально прочитана, кажется, въ пользу высшихъ женскихъ курсовъ, женщиной-врачомъ и касалась средняго типа проститутки. Лекторша, на основаніи ряда изслѣдованій, приходила къ заключенію, что типъ «этихъ женщинъ»—ниже средняго женскаго. Между прочимъ, Глѣба Ивановича остановила одна подробность: оказалось, что нижняя челюсть проститутки выступаетъ на какія-то $1^1/_2$ миллиметра больше, чѣмъ у средней добродѣтельной женщины.

Вся эта физіолого-анатомическая статистика, въ которой утопаетъ столько живого, личнаго, индивидуальнаго горя, страданія и позора, это разсѣченіе живого и болящаго явленія на предопредѣляющія особенности физіолого-анатомическаго свойства глубоко оскорбили Глѣба Ивановича и приводили его въ негодованіе. Онъ зналъ „жертвы“ и притомъ именно жертвы общественныхъ условій и „общественнаго неустройства“. А здѣсь выдвигался „низшій типъ“, осужденный фатально несовершенствами собственной организаціи. Центръ тяжести всей вины, тревожившей совѣсть и взывавшей къ справедливости, переносился изъ отвѣтственной соціальной среды въ фатальныя условія природныхъ предопредѣленій. То обстоятельство, что лекцію читала женщина-врачъ въ пользу высшихъ женскихъ курсовъ, передъ

аудиторіей, въ значительной части состоявшей изъ курсистокъ, которыя проводили лекторшу аплодисментами,— особенно огорчило Успенскаго. Въ его чуткомъ воображеніи за этой статистикой всталъ коллективный образъ интеллигентной женщины, пробивающей себѣ дорогу къ знанію и свѣту, а за нимъ—тысячи помраченныхъ существованій. И ему показалось, что добродѣтельная женщина съ холоднымъ пренебреженіемъ закрываетъ глаза на горе своей погибающей сестры, слишкомъ легко принимая теорію „низшаго типа“.

Я, повторяю, не читалъ самой лекціи (напечатанной, кажется, въ какомъ-то журналѣ), но попробовалъ было заступиться за цифры, допуская, что въ массѣ гибнущихъ есть и „жертвы органическихъ предрасположеній“, ослабляющихъ устойчивость въ жизненной борьбѣ. Этотъ контингентъ можетъ вліять на средній выводъ, не устраняя вопроса о вліяніи соціальнаго неустройства въ огромномъ большинствѣ остальныхъ случаевъ. Весь вопросъ—въ перспективѣ и выдѣленіи факторовъ общественныхъ отъ чисто антропологическихъ.

Глѣбъ Ивановичъ сначала смотрѣлъ на меня съ печальнымъ недоумѣніемъ и укоромъ, а затѣмъ, дослушавъ, сказалъ:

— Ну, вотъ-вотъ! Такъ гдѣ-же оно, самое-то главное. Въ челюсти-то оно развѣ выражено? Нѣтъ, не защищайте, Владиміръ Галактіоновичъ: есть оно, это бездушіе особенное... женское... добродѣтельное!.. Челюсть и больше ничего! Полъ миллиметра и кончено!..

И, сразу обидѣвшись за „недобродѣтельную“ сестру, онъ сталъ безпощаденъ къ добродѣтельной. По обыкновенію съ паузами, со своимъ особеннымъ молчаніемъ „все о томъ-же предметѣ“, онъ сталъ прослѣживать примѣры „женскаго бездушія“, иной разъ удивляя насъ

кажущейся неожиданностью и какъ бы безсвязностью своихъ вылазокъ.

— Вотъ теперь въ (такомъ-то журналѣ) мочалка пойдетъ...—сказалъ онъ, вдругъ улыбнувшись.—Приходитъ въ редакцію господинъ... Мрачный... Грива діаконская... подъ мышкой рукопись... „Вотъ о производствѣ мочалокъ! Въ N-ской волости, такой-то губерніи“...— То-есть, позвольте... какихъ мочалокъ?—„А просто: мочалка! Которая въ банѣ... или, напримѣръ, рогожа“...— „Ахъ, вотъ что! Скажите пожалуйста: Ма-а-чалка! Въ N-ской волости... Непремѣнно, непре-мѣнно напечатаемъ! Мочалка!.. Ахъ, какъ интересно“.

Всѣ мы хохотали надъ этой маленькой жанровой картинкой, хотя не понимали еще, какая связь между мочалкой и лекціей... Но вдругъ онъ замолкъ, посмотрѣлъ на насъ печальными глазами и, съ особенной силой прижимая два пальца правой руки къ лѣвому лацкану пиджака,—закончилъ внезапно измѣнившимся тономъ:

— Да, вотъ: мочалка! А заступиться за женщинъ... за несчастныхъ... за погибающихъ... Этого вотъ нѣтъ! Помилуйте: у нея вотъ челюсть на 1 ½ миллиметра... Что тутъ подѣлаешь... Нѣ-ѣтъ! Сдѣлайте одолженіе: вымѣряйте получше. Можетъ, у нея челюсть-то поаккуратнѣе вашей...

И онъ продолжалъ развивать эту тему, своей обычной отрывистой рѣчью, съ паузами и неожиданными вспышками юмора. За женщиной-редакторомъ послѣдовали женщины-писательницы. Глѣбъ Ивановичъ находилъ, что и онѣ повинны въ пренебреженіи и холодности къ этому чисто-женскому вопросу...

— Онъ и она... при лунѣ... Любовь... На это вотъ мастерицы: чай влюбленная героиня разливаетъ, такъ у нея любовь-то эта даже въ носкѣ чайника... такъ вотъ

и вьется... Или вотъ у другой: ребеночекъ умираетъ... Такъ она обои, на которые онъ смотрѣлъ,—взяла и выдрала. Понимаете: *свой* ребеночекъ-то смотрѣлъ. Святыня!.. А вотъ у кого ни ребеночка, никого нѣтъ! Почему объ нихъ не напишутъ? Кому-бы, кажется, за свою-то сестру заступиться... Написать всю правду... до конца!.. А не полтора миллиметра!..

Онъ опять помолчалъ и, грустно покачивая головой, прибавилъ:

— И аплодируютъ... Молодыя, хорошія... счастливыя...

Глаза его становились все глубже, печальнѣе, веселье начинало исчезать, папироса все выростала и выростала...

Послѣ обѣда мы рѣшили отправиться на такъ называемый въ Нижнемъ «откосъ». Я надѣялся, что эта прогулка, чудесный день и волжскіе пейзажи разсѣютъ Глѣба Ивановича и вернутъ ему то радостное оживленіе, съ какимъ онъ къ намъ явился въ первыя минуты послѣ пріѣзда. Нѣсколько знакомыхъ отправились впередъ, а я съ Успенскимъ—за ними на извозчикѣ. Въ одной изъ улицъ верхняго города (значительно пустѣющаго во время ярмарки) навстрѣчу намъ, заполняя всю улицу стукомъ копытъ и шуршаніемъ скачущихъ по мостовой резиновыхъ шинъ, промчалась коляска, въ которой развалясь сидѣлъ молодой купецъ. У него было круглое, какъ луна, красное лицо, лоснящіяся, русыя кудри лѣзли изъ-подъ блестящаго, узкаго цилиндра...

Глѣбъ Ивановичъ, до сихъ поръ молчавшій, повернулся въ сидѣніи и проводилъ его внимательнымъ, изучающимъ взглядомъ.

— Видѣли?—спросилъ онъ.—Ну, что скажете?

— Да, фигура,—отвѣтилъ я, не понявъ вопроса.

— Нѣтъ... Вотъ этакой вотъ господинъ и захочетъ вдругъ себѣ удовольствія... Какъ вы думаете,—скажетъ онъ: подавай мнѣ, чтобы именно челюсть на 1 ½ миллиметра?..

Я невольно засмѣялся, а Успенскій со своимъ печально сосредоточеннымъ видомъ закончилъ:

— Нѣтъ... Никакихъ денегъ не пожалѣетъ, сотню подлаго народа на поиски разошлетъ, а ужъ достанетъ... И чтобы все какъ можно лучше... чтобы и челюсть въ самую пропорцію...

И онъ опять замолчалъ, но теперь я уже чувствовалъ, что это молчаніе заполнено все тѣмъ же волнующимъ его вопросомъ о падшихъ и о виновныхъ въ этомъ паденіи.

Нижегородскій «откосъ», на высокомъ берегу, надъ Волгой воспѣтъ и прозой, и стихами въ тысячахъ фельетоновъ и даже въ серьезныхъ повѣстяхъ и разсказахъ. Дѣйствительно, видъ съ этого горнаго обрѣза на заволжскіе луга, на мрѣющее въ золотѣ заката сліяніе двухъ рѣкъ, на тихо рокочущую далеко на «стрѣлкѣ» ярмарку—способенъ захватить въ свои бездумныя, ласкающія объятія самаго угрюмаго человѣка. Мы ходили по аллеямъ, садились на скамейки, любовались видами, болтали и смѣялись, а черезъ полчаса усѣлись на полукруглой площадкѣ у ресторана.

Подъ нами разстилались, уходя внизъ, зеленыя вершины липъ. Между зеленью вѣтвей, въ промежуткахъ сверкала далеко внизу рѣка, проходили баржи и пароходы... Цѣлые часы можно было бы просидѣть здѣсь, ни о чемъ не думая, даже ничего въ особенности не выдѣляя въ сознаніи, а только глядя на это небо, на эти синѣющія дали, на рѣку, залитую косыми лучами

солнца, и прислушиваясь къ ласковому вѣянію вѣтра, доносившаго снизу смягченный шумъ людской суеты...

— Ну, вотъ и посмотрите,—услышалъ я голосъ сидѣвшаго рядомъ Глѣба Ивановича,—ну, вотъ тамъ, на балконѣ... Какіе-же тутъ полтора миллиметра?..

Я оглянулся по направленію его взгляда и увидѣлъ вверху, на балкончикѣ ресторана женскую фигуру. Это была красивая брюнетка кавказскаго типа, съ широкими бровями и огромными черными глазами. Еще довольно свѣжее лицо выдѣлялось своей бѣлизной на фонѣ синевато-черныхъ волосъ.

Въ этомъ ресторанѣ пѣлъ хоръ пѣвицъ, начиная послѣ обѣда и до глубокой ночи. Это была наемная регентша хора, молодая грузинка или осетинка. Было еще рано, посѣтителей было мало, и дѣвушки бродили по дорожкамъ, а регентша задумчиво смотрѣла вдаль, отдаваясь этой минутѣ отдыха и покоя подъ ласкающимъ вѣтромъ, лелевившимъ завитки ея буйныхъ волосъ.

Глѣбъ Ивановичъ смотрѣлъ на нее, и на его выразительномъ лицѣ рисовалась глубокая симпатія.

— Да, вотъ вамъ и $1^1/_2$ миллиметра,—говорилъ онъ съ укоромъ,—подите вотъ... Разспросите ее: какъ она сюда попала... А челюсть-то, сдѣлайте одолженіе: поаккуратнѣе многихъ...

Въ это время дѣвушка съ балкона кинула случайно взглядъ на нашу группу и очевидно замѣтила, что мы на нее смотримъ и говоримъ объ ней. Для нея это было сигналомъ «начала работы». Она еще разъ, какъ будто съ сожалѣніемъ, посмотрѣла на далекіе луга и, принявъ профессіонально-ласковое выраженіе лица, обратилась къ намъ съ приглашеніемъ войти внутрь ресторана и послушать пѣніе.

Живя въ Нижнемъ, я много разъ бывалъ и на откосѣ, слушалъ «пѣвицъ» и на ярмаркѣ, въ первоклассныхъ гостиницахъ и въ самыхъ ужасныхъ вертепахъ. Компаніи, съ которыми мнѣ пришлось посѣщать эти мѣста, тоже бывали разнообразныя; но впечатлѣнія все-таки походили другъ на друга: всегда оставался какой-то осадокъ, непріятный и тяжелый. Только этотъ случай, когда я слушалъ ресторанныхъ «пѣвицъ» съ Глѣбомъ Ивановичемъ, оставилъ во мнѣ совершенно особенное впечатлѣніе, такъ какъ, повторяю, человѣкъ этотъ былъ тоже совершенно особенный...

Мы поднялись наверхъ. Въ небольшой комнаткѣ ресторана, съ дощатыми подмостками для хора, стоялъ рояль. По зову регентши, дѣвушки входили изъ сада и со скучающимъ видомъ подымались на эстраду... Потомъ спѣли какую-то пѣсню... Вяло, лѣниво. Потомъ подошли со сборомъ «на ноты»...

Однако, скоро это совершенно измѣнилось. Молодая осетинка, которая приняла наше приглашеніе присѣсть къ столу, повидимому инстинктивно угадала, кто служитъ центромъ нашей, не совсѣмъ, быть можетъ, обычной въ ресторанѣ компаніи... И, когда подошелъ слѣдующій нумеръ,—она установила свой хоръ на эстрадѣ, но сама вышла впередъ и совершенно неожиданно запѣла одна, подъ аккомпаниментъ рояля, очень красивымъ, задушевнымъ контральто:

„Не говори, что молодость сгубила"...

Я пишу свои воспоминанія, ничего въ нихъ не прибавляя, а только возстановляя то, что было, и нѣсколько человѣкъ, бывшихъ съ нами въ то время, безъ сомнѣнія, помнятъ еще этотъ маленькій эпизодъ. Я не знаю, чему приписать эту «отгадку» молодой пѣвицы, такъ

какъ до тѣхъ поръ у насъ шелъ самый обыденный разговоръ, полушуточный и легкій. Однако, она именно «угадала», что́ лучше всего спѣть въ данную минуту, и, стоя на эстрадѣ, глядѣла на Успенскаго, какъ бы назначая именно ему свою пѣсню... Пѣла она, какъ мнѣ казалось, какъ-то особенно хорошо и съ глубокимъ чувствомъ...

Глѣбъ Ивановичъ былъ глубоко растроганъ, сидѣлъ, опустивъ голову, и по временамъ шепталъ, полуоборачиваясь къ сосѣду:

— Д-да... да. Боленъ Некрасовъ. Умираетъ... Скоро... «холодный мракъ могилы»... «Не говори, что молодость сгубила»... Да, да... вотъ, вотъ именно такъ...

Въ это время, пока пѣвица вела къ концу свой романсъ, увлекая насъ и, повидимому, увлекаясь сама,— снизу, изъ люка съ лѣсенкой, которая вела въ этотъ залъ съ нижней веранды, появилась плотная, пьяная фигура. Какой-то ярмарочный посѣтитель, закутившій «на Стрѣлкѣ» и пріѣхавшій докучивать на откосъ, въ сѣромъ пальто, съ котелкомъ на затылкѣ, хмѣльной и довольно безобразный, поднялся, привлеченный пѣніемъ, и сталъ прямо между нами и эстрадой. Широкая фигура съ разставленными ногами и палкой въ рукахъ совершенно закрыла пѣвицу. Онъ былъ видимо недоволенъ выборомъ пѣсни и только что отпустилъ какую-то пошлость, какъ Успенскій протянулъ свою палку и тронулъ его концомъ въ плечо.

Это было такъ неожиданно, что я съ удивленіемъ посмотрѣлъ на Глѣба Ивановича и не могъ не улыбнуться. На его лицѣ не было ни гнѣва, ни возбужденія, а только легкая досада и желаніе устранить препятствіе, мѣшавшее ему спокойно слушать. Такъ мы устраняемъ съ дороги не на мѣстѣ усѣвшуюся собаку,

кошку или даже просто какой-нибудь обрубокъ. Разумѣется, пьяный господинъ не могъ на это смотрѣть такъ же философски. Онъ повернулъ къ намъ свое разъяренное лицо, и, вѣроятно, романсъ закончился бы большимъ шумомъ, если бы, къ счастью, находчивый Н. Ѳ. Анненскій не подошелъ къ освирѣпѣвшему посѣтителю и, весело и добродушно говоря что-то, отвелъ его въ сторону. Озадаченный и сбитый съ толку посѣтитель попалъ затѣмъ въ руки офиціантовъ, которые усадили его за столъ, а Глѣбъ Ивановичъ дослушивалъ послѣдніе звуки романса, какъ будто даже не замѣтивъ всего этого эпизода...

Когда послѣ этого одна изъ пѣвицъ опять подошла «съ нотами», Глѣбъ Ивановичъ вынулъ изъ праваго кармана своего сѣраго пальто бумажку и положилъ ее, не глядя. При слѣдующемъ нумерѣ повторилось то-же. Деньги онъ вынималъ, какъ спички для закуриванія папиросы или предметъ совершенно неинтересный и нестоющій вниманія. Я пробовалъ указать ему, что, въ сущности, онъ даетъ не пѣвицамъ и что все это поступитъ не *хору*, а только хищницѣ-хозяйкѣ. Молодая осетинка, сидѣвшая по нашему приглашенію за столомъ, оглянулась и тихо, чуть слышно, сказала: «да, хозяйкѣ... мы на жалованьи»... Но это на Глѣба Ивановича не оказало задерживающаго дѣйствія. Онъ такъ же, не глядя, механически вынималъ деньги и клалъ ихъ «на ноты». Когда одинъ разъ я захотѣлъ остановить его, указавъ, что мы уже положили и что этого достаточно,— онъ посмотрѣлъ на меня съ выраженіемъ укора и легкой досады и опять вынулъ наудачу то, что первое попалось подъ руку.

Видно было, что, и слушая, и внимательно глядя на пѣвицъ, и вынимая бумажку,—онъ занятъ какимъ-

то однимъ предметомъ, отъ котораго какъ будто и не хочетъ, и не можетъ отвлечься для такихъ пустяковъ, какъ деньги и ихъ значеніе...

Послѣ этого я уже не останавливалъ его. Мы просидѣли до заката солнца, потомъ, попрощавшись съ пѣвицами, вышли въ аллеи сада.

Здѣсь насъ ждалъ новый маленькій эпизодъ. Въ то время, когда мы сидѣли еще на площадкѣ снаружи, къ намъ подходилъ маленькій итальянецъ съ какимъ то инструментомъ въ родѣ гармоніи. На немъ была остроконечная черная шляпа, изъ-подъ которой выразительно глядѣли большіе черные глаза. Игралъ онъ недурно, просилъ глазами еще лучше и, повидимому отчасти благодаря нашей компаніи, сдѣлалъ необычный сборъ. Въ виду этого онъ позволилъ себѣ нѣкоторую роскошь: подойдя къ деревянному кіоску на видной аллеѣ, важно усѣлся на стулъ, положилъ у ногъ калабрійскую шляпу и гармонію и потребовалъ себѣ стаканъ мороженаго.

Случилось, что въ это время злой рокъ привелъ въ садъ его старшую сестру нищенку, хромую дѣвушку лѣтъ 18—20, на костыляхъ. У нея было такое же смуглое лицо, такіе же черные волосы и такіе же выразительные глаза. Только лицо было болѣзненное, а глаза злые. Она быстро ковыляла по аллеѣ на своемъ костылѣ и, такъ какъ мы подымались по дорожкѣ къ этому кіоску, то маленькая драма завершилась на нашихъ глазахъ: разъяренная дѣвушка схватила безпечнаго музыканта за ухо какъ разъ въ то время, когда онъ подносилъ ко рту ложечку съ мороженымъ.

Вышла маленькая жанровая сценка въ очень красивой обстановкѣ и, въ сущности, очень благодарная для художника. Есть такіе счастливые художники-олим-

пійцы, которые даже въ самой казни видятъ благодарную «натуру». Глѣбъ Ивановичъ по своему темпераменту находился на противоположномъ полюсѣ. Въ своей автобіографіи онъ пишетъ, что былъ въ Парижѣ послѣ коммуны и видѣлъ, «какъ приговаривали къ смерти сапожниковъ и каменьщиковъ». Но онъ сравнительно мало останавливался на этихъ картинахъ и, я думаю, это не случайно: онѣ подавляли его, онъ не могъ овладѣть ими, потому что его мозгъ и его нервы не вмѣщали всего ихъ ужаса. Хорошо это для художника или дурно,—я здѣсь этого вопроса не касаюсь: по отношенію къ Успенскому это былъ фактъ, входившій однимъ изъ составныхъ элементовъ его личности. И теперь, при видѣ этого небольшого конфликта между братомъ и сестрой, пока мы еще успѣли вникнуть въ смыслъ разыгравшейся передъ нами сценки,—Глѣбъ Ивановичъ съ страдающимъ и искаженнымъ лицомъ кинулся къ дѣвушкѣ и схватилъ ее за руку.

— Что ты дѣлаешь... За что ты его бьешь?.. Какая ты скверная,—говорилъ онъ, сжимая руку озадаченной немезиды своей нервной рукой. Та невольно разжала пальцы, и молодой кутила, вырвавшись, стрѣлой сбѣжалъ съ небольшого откоса на нижнюю дорожку. Тамъ онъ остановился безъ шляпы и гармоніи и, чувствуя себя сравнительно въ безопасности, наблюдалъ происходящее своими темными, какъ черносливъ, простодушными глазами.

Дѣвушка, сначала испуганная, скоро, однако, оправилась и, всхлипывая и грозя брату кулакомъ, стала разсказывать намъ объ его ужасномъ преступленіи и о причинахъ своего гнѣва. И вотъ, благодаря вмѣшательству Глѣба Ивановича, въ этомъ прелестномъ уголкѣ, гдѣ для насъ все было отдыхомъ, радостью и весель-

емъ, — передъ нашими глазами вдругъ развернулась, вмѣсто комическаго интермеццо, цѣлая драма. Оказалось, что въ Нижній, на ярмарку пріѣхала семья итальянцевъ. Отецъ былъ музыкантъ, мать пѣвица, маленькій сынъ—гармонистъ, вообще, кажется, вся семья готовилась исполнять на ярмаркѣ что-то увеселительное. Но вдругъ отецъ заболѣлъ, и теперь лежалъ въ какомъ-то вертепѣ Милліонной улицы, разстилавшейся внизу, подъ нашими ногами. Мать не могла оставить больного и маленькихъ дѣтей. Въ качествѣ кормильцевъ оставались только — знакомый намъ гармонистъ и она— хромая-нищенка. Но ей подаютъ мало, хотя она ходитъ цѣлые дни, несмотря на больную ногу... Онъ долженъ бы играть и играть, чтобы собрать побольше денегъ... А онъ ѣстъ мороженое въ то время, какъ у родныхъ нѣтъ куска хлѣба для маленькихъ дѣтей...

И она опять заплакала и погрозила кулакомъ злополучному эпикурейцу, все еще державшемуся въ почтительномъ отдаленіи. Мы постарались ее успокоить, кидая въ поднятую ею шляпу мальчика серебряныя деньги. Глѣбъ Ивановичъ сунулъ руку въ карманъ пальто, вынулъ остававшуюся тамъ единственную пятирублевку и подалъ ее удивленной дѣвушкѣ. Потомъ полѣзъ въ другой карманъ, пошарилъ тамъ, но въ карманѣ уже ничего не было. Тогда, съ нѣсколько растеряннымъ видомъ, онъ повернулся и очутился лицомъ къ лицу съ незнакомой дамой, съ пышнымъ бюстомъ и въ роскошной шелковой накидкѣ. Она и еще два-три любопытныхъ фланера были привлечены маленькой траги-комедіей и неожиданнымъ вмѣшательствомъ страннаго господина. Успенскаго, повидимому, нимало не смутило то обстоятельство, что передъ нимъ очутились люди, совершенно ему незнакомые. Онъ посмотрѣлъ въ

лицо дамы своимъ ласковымъ и довѣрчивымъ взглядомъ и сказалъ просто, какъ сказалъ бы хорошему знакомому:

— Вотъ видите, какое тутъ дѣло. Отецъ боленъ, мать съ дѣтьми... въ трущобѣ. У меня больше нѣтъ. Дайте вы сколько-нибудь, вотъ они тоже... Вѣдь цѣлая семья...

Дама высокомѣрно взглянула на импровизированнаго сборщика, пожала плечами и, повернувшись, поплыла по аллеѣ. Остальные любопытные тоже нашли, что самый интересный моментъ миновалъ, и что сбора, сдѣланнаго уже въ пользу итальянцевъ, слишкомъ достаточно для «бѣднаго семейства». Глѣбъ Ивановичъ остался на дорожкѣ одинъ, провожая расходившихся внимательнымъ взглядомъ. Я видѣлъ его лицо въ эту минуту и очень жалѣлъ, что не могъ снять его съ этимъ выраженіемъ, состоявшимъ изъ проникновенности художника и простодушнаго изумленія ребенка... Это почти дѣтское простодушіе и растерянность передъ самымъ обычнымъ проявленіемъ человѣческой черствости, и притомъ со стороны художника, который такъ понималъ и такъ умѣлъ рисовать эти свойства средняго человѣка, составляли тоже особенную черту этого своеобразнаго и сложнаго характера.

Утромъ, тотчасъ послѣ пріѣзда къ намъ, Успенскій говорилъ, что ночью спалъ мало и хочетъ лечь пораньше, чтобы отдохнуть передъ дальнѣйшимъ путешествіемъ. Въ виду этого я настаивалъ, чтобы не ходить уже никуда, и чтобы Глѣбъ Ивановичъ ложился. Онъ покорно соглашался, но при этомъ какъ-то лукаво улыбался. Придя домой, онъ пошарилъ въ чемоданѣ и съ торжествомъ вынулъ портмоне, изъ котораго сталъ перегружать бумажки опять въ лѣвый карманъ.

— Да вотъ!—сказалъ онъ, улыбаясь съ веселымъ

лукавствомъ, — я вѣдь человѣкъ предусмотрительный: сразу всего не взялъ. Видите: оставилъ про запасъ!

Я сильно подозрѣваю, что «предусмотрительность» принадлежала собственно женѣ Успенскаго, которая едва-ли ожидала, что къ «запасу» Глѣбъ Ивановичъ прибѣгнетъ уже въ Нижнемъ.

Улеглись мы, дѣйствительно, довольно рано, въ моей маленькой комнаткѣ, въ нижнемъ этажѣ дома, выходившаго въ густой садъ. Лѣтомъ окно въ этотъ садъ я оставлялъ открытымъ и на ночь, и листья деревьевъ почти лѣзли въ комнату.

Среди ночи я проснулся подъ впечатлѣніемъ совершенно фантастическихъ видѣній и, раскрывъ глаза, нѣкоторое время чувствовалъ себя все еще какъ будто во власти сна: въ окно тихо, съ осторожностью пробирался изъ сада Глѣбъ Ивановичъ, а за окномъ, освѣщенная прорывающимися лучами мѣсяца, виднѣлась фигура одного веселаго человѣка изъ нашихъ общихъ друзей, очевидно, участвовавшаго въ заговорѣ и указавшаго Глѣбу Ивановичу этотъ путь для незамѣтнаго выхода и возвращенія. Когда путешествіе это совершилось благополучно, Глѣбъ Ивановичъ съ лукавымъ видомъ послалъ фигурѣ за окномъ воздушный поцѣлуй и тихо сказалъ:

— Спитъ!..

Фигура за окномъ исчезла. Я окончательно пришелъ въ себя и сообразилъ, что Глѣбъ Ивановичъ опять совершилъ экскурсію на откосъ.

— Вотъ вы какъ, Глѣбъ Ивановичъ,—сказалъ я.— А обѣщали лечь пораньше.

— Д-да... Вотъ видите... Грѣшный человѣкъ... въ окно... Ничего! Я сейчасъ лягу. Спите... Хотѣлось поговорить еще кое-о-чемъ. Удивительная дѣвушка.

Однако, самъ онъ легъ не сразу. Онъ сообщилъ мнѣ, что у осетинки въ Сызрани ребенокъ, и она своимъ пѣніемъ зарабатываетъ на его содержаніе... Говорилъ онъ тихо, какъ будто про себя, и я началъ дремать. Сквозь дремоту долго еще я видѣлъ фигуру Глѣба Ивановича, сидѣвшаго на постели съ папиросой. Папироса все удлинялась; огонекъ ея, вспыхивая, освѣщалъ глубокіе, сосредоточенные глаза и выразительное лицо Успенскаго.

— Да... Вотъ... Ребеночекъ... А она тутъ поетъ, до самой зари... Человѣка захватитъ какая-нибудь этакая шестерня... И ломаетъ, и ломаетъ всего... Что-же тутъ челюсть? А я вотъ думаю: челюсть-то... она иной разъ еще спасаетъ... Будь эта, вотъ, хромая, итальянка-то, поаккуратнѣе... Да тутъ, въ этомъ аду... Господи Боже!.. Давно бы ее закрутило...

Я зажегъ спичку и посмотрѣлъ на часы.

— Глѣбъ Ивановичъ, голубчикъ! Вѣдь уже три часа. А завтра на пароходъ въ девять.

— Сейчасъ, сію минуту... Лягу... непремѣнно... Я только говорю: челюсть-то эта пустяки!.. Подлость тутъ наша, а не челюсть... И это надо понимать, писать, говорить... Общество... всѣ мы... а не челюсть... не челюсть... Нѣтъ, не челюсть...

И долго еще въ темной комнаткѣ виднѣлся вспыхивающій огонекъ его папиросы и слышались отрывочныя горькія замѣчанія.

IV.

На слѣдующее утро мы пріѣхали на пристань рано. Утро опять было чудесное, свѣжее. Пароходъ стоялъ у пристани, но свистка еще не было. Когда пришлось брать билеты, Глѣбъ Ивановичъ пошарилъ въ карма-

нахъ, заглянулъ въ кошелекъ и, какъ-то виновато улыбнувшись, сказалъ съ легкимъ удивленіемъ:

— А вѣдь у меня денегъ-то... уже и нѣтъ.

Мы это предвидѣли, и потому, не ожидая этого признанія, Н. Ѳ. уже стоялъ у кассы, чтобы взять Глѣбу Ивановичу пароходный билетъ. Такія исторіи должны были случаться съ Успенскимъ очень часто. Въ слѣдующемъ году онъ писалъ мнѣ, между прочимъ: «были у меня и 200 рублей, и еще 200 и еще 300, но все исчезло въ тотъ моментъ, какъ только появлялось въ рукахъ. Долговъ въ деревнѣ накопилось тьма—едва выбрался оттуда... Говорятъ, есть какія-то новыя бумажки и будто бы онѣ были у меня въ рукахъ, но я рѣшительно не видалъ ихъ,—знаю, что мелькало что-то синее или красное»... Онъ сознавалъ въ себѣ эту черту и иной разъ отзывался объ ней съ легкимъ юморомъ, какъ будто говорилъ о другомъ человѣкѣ. Но это было, такъ сказать,—вообще. Въ частности же, каждый разъ, когда у него бывали деньги, онъ относился къ нимъ съ самымъ непосредственнымъ равнодушіемъ; и это ставило его нерѣдко въ невозможныя, порой очень тяжелыя положенія.

— Ну, вотъ и отлично!—весело сказалъ онъ, получивъ отъ Н. Ѳ. билетъ.—Просто превосходно. Я вамъ непремѣнно вышлю изъ Петербурга... А теперь мнѣ бы еще... десять рублей.

— Мало, Глѣбъ Ивановичъ, — сказалъ я. — Вѣдь далеко.

— Нѣтъ! Десять ровно. Я знаю... Я дамъ телеграмму, мнѣ вышлютъ туда-то.

Мы не спорили, но вмѣсто десяти рублей сунули Глѣбу Ивановичу въ карманъ столько, сколько, по на-

шему мнѣнію, должно было бы хватить на обычные путевые расходы.

На верхней палубѣ парохода ожидали уже двѣ пѣвицы изъ вчерашняго хора: осетинка и молодая дѣвушка, почти ребенокъ, которую регентша, повидимому, взяла подъ свое особое покровительство. Обѣ были одѣты скромно и производили очень пріятное впечатлѣніе. Къ Глѣбу Ивановичу онѣ относились съ какой-то особенной почтительностью, и радость, сверкнувшую въ ихъ глазахъ, когда онъ подходилъ къ нимъ, можно понять, если представить себѣ обычный тонъ обращенія публики съ этими бѣдными созданіями... Хоръ былъ сравнительно приличный, но существованіе женщины даже въ самомъ «приличномъ» хорѣ представляетъ только тщетныя усилія удержаться на наклонной плоскости. Ежегодно ярмарочная хроника отмѣчаетъ не одну трагедію изъ этой области, которыя мелькаютъ и исчезаютъ на общемъ фонѣ ярмарочной жизни. И тѣ самые люди, которые вчера еще проводили вечеръ съ пѣвицами, забывая всякія «условности» — сегодня не рѣшатся подойти къ нимъ днемъ и на глазахъ у публики...

Глѣбъ Ивановичъ поздоровался съ ними просто и радушно. То, что составляло ихъ жизнь—являлось его болью, его страданіемъ, предметомъ его неугомонной мысли, и это давало какой-то особенный тонъ ихъ взаимнымъ отношеніямъ. Обычные разспросы равнодушныхъ людей, бередящихъ и безъ того болящія раны,— безъ сомнѣнія, являются для этихъ бѣдныхъ дѣвушекъ новымъ источникомъ нравственныхъ страданій, и онѣ защищаются отъ нихъ по своему: никогда онѣ не говорятъ своихъ настоящихъ именъ, другъ друга называютъ вымышленными и каждому любопытному допросчику

разсказываютъ новую свою біографію. Но для Глѣба Ивановича это были «настоящіе» люди, онъ уже зналъ ихъ «настоящую» жизнь и теперь съ серьезнымъ сочувствіемъ записывалъ адресъ какой-то сызранской мѣщанки, у которой находился на воспитаніи ребенокъ осетинки. Для нихъ это было какъ бы свиданіе съ добрымъ землякомъ, случайно встрѣченнымъ въ шумномъ городѣ...

Никакихъ денегъ онѣ, разумѣется, не ждали, и никому бы не пришло въ голову предложить ихъ. Мы позвали официанта и, устроившись въ уголкѣ, велѣли принести чайный приборъ, такъ какъ всѣ встали рано и пріѣхали сюда безъ чаю.

Публика прибывала, прогудѣлъ первый свистокъ.

Къ столику, за которымъ сидѣла наша небольшая компанія, подошла какая-то старушка, маленькая, худая, съ колющими бѣгающими глазами, въ черномъ платьѣ и темномъ платкѣ, повязанномъ по-скитски, въ роспускъ. Она поклонилась намъ всѣмъ и, называя дѣвушекъ красавицами-прынцессами, стала просить денегъ. Она ѣдетъ къ Іоанну Кронштадтскому и проситъ на дорогу. Голосъ у нея былъ ханжески-фальшивый и непріятный. Въ словахъ «красавицы» и «прынцессы», которыя она адресовала пѣвицамъ, слышалась скрытая двусмысленность и осужденіе.

Глѣбъ Ивановичъ какъ-то особенно насторожился и торопливо сунулъ ей серебряную монету. Она быстро схватила ее и отошла къ другой группѣ, но въ это время младшая пѣвица засмѣялась: у старухи изъ-подъ темной короткой юбки мелькнули желтыя туфельки, на высокихъ каблукахъ. Эти туфли, при костюмѣ черницы-богомолки, производили, дѣйствительно, странное впечатлѣніе. Вѣроятно кто-нибудь просто подарилъ ихъ

старухѣ, но молодая дѣвушка съ наивной безтактностью сказала:

— Господи! Точно у танцовщицы!

Старушка повернулась, смѣрила дѣвушекъ пристальнымъ, колющимъ взглядомъ и стала опять приближаться къ столу, не спуская съ юныхъ грѣшницъ своихъ строгихъ маленькихъ глазокъ. Дѣвушки сразу притихли, а она не знала, которая изъ нихъ оскорбила ее своимъ замѣчаніемъ. Наконецъ, она почему-то остановилась на осетинкѣ.

— Нѣтъ, прынцесса моя,—сказала она своимъ зловѣщимъ голосомъ,—я не танцовщица, я богомолка. А тебѣ, миленькая, я скажу судьбу. Денегъ ты наживешь, охъ, много! А прожить-то вотъ, прожить... и не успѣешь ..

Осетинка сразу поблѣднѣла. Старушка хотѣла сказать еще что-то, но въ это время Глѣбъ Ивановичъ, до тѣхъ поръ смотрѣвшій на всю сцену со вниманіемъ художника, — понялъ ея значеніе и поднялся съ мѣста.

— Вотъ вѣдь, какая ты злая старушонка,—сказалъ онъ, заступая богомолкѣ дорогу, — денегъ тебѣ мало дали? На вотъ, возьми, возьми... вотъ! И иди себѣ... куда тебѣ надо...

Онъ сунулъ ей бумажку съ такимъ видомъ, какъ будто это было орудіе казни. Старушонка быстро схватила деньги и скрылась...

Передъ самымъ отходомъ парохода къ намъ подошелъ какой-то субъектъ мѣщанскаго вида, въ картузѣ и порыжѣвшемъ старомъ суконномъ пальто. Онъ вчера пріѣхалъ въ Нижній вмѣстѣ съ Глѣбомъ Ивановичемъ, между ними завязались уже какія-то намъ непонятныя отношенія, и повидимому встрѣча на этой пристани была не случайна. Мѣщанинъ ѣхалъ въ третьемъ классѣ

и очень обрадовался, разыскавъ Успенскаго въ нашемъ уютномъ уголкѣ.

— Вотъ и отлично,—говорилъ ему Успенскій,—вотъ и превосходно. Мы съ вами, значитъ, еще потолкуемъ дорогой. А теперь я вотъ тутъ... съ знакомыми людьми.

Незнакомецъ успокоенный удалился.

— Превосходный человѣкъ,—объяснилъ мнѣ Глѣбъ Ивановичъ.—Просто замѣчательный... И какую надъ нимъ устроили подлость...

Послѣдній свистокъ прервалъ разсказъ объ этой подлости, и черезъ нѣсколько минутъ пароходъ отошелъ отъ пристани, унося отъ насъ Глѣба Ивановича. Помню, я тогда замѣтилъ какое-то особенное изящество всей его фигуры. Разсѣянный, не отъ міра сего, не думающій о себѣ,—онъ какъ-то всегда, инстинктивно, непроизвольно умѣлъ сохранить это прирожденное изящество во всемъ, что къ нему относилось.

Когда пароходъ повернулся, я еще разъ увидѣлъ Успенскаго, сходившаго внизъ по лѣсенкѣ. И мнѣ показалось, что съ нимъ шелъ человѣкъ, надъ которымъ «была сдѣлана большая подлость»... На пристани, долго глядя вслѣдъ пароходу, стояли мы всѣ, и среди насъ двѣ пѣвички съ откоса. Знали ли онѣ, съ кѣмъ свели знакомство, имѣли ли представленіе о томъ, что этого человѣка знала и любила вся образованная Россія? Не думаю. Это были простыя, необразованныя дѣвушки, которыхъ жизненныя невзгоды, собственная беззащитность и красота (челюсти у нихъ обѣихъ дѣйствительно были, какъ говорилъ Глѣбъ Ивановичъ, вполнѣ «аккуратныя») кинули на этотъ путь, покатый и скользкій. Обѣ онѣ пытались еще удержаться и надѣялись, что удержатся на наклонной плоскости. И я увѣренъ, что, какъ бы ни сложилась ихъ дальнѣйшая судьба,—

эта встрѣча съ человѣкомъ, у котораго были такіе глубокіе и любящіе глаза, такая странная рѣчь, къ которому всѣ относились съ такимъ, можетъ быть, не вполнѣ понятнымъ для нихъ уваженіемъ и котораго онѣ провожали, какъ своего добраго знакомаго въ это утро— осталась въ ихъ памяти свѣтлымъ пятнышкомъ, совершенно «особеннымъ» въ обстановкѣ ихъ нерадостной жизни...

IV.

Исторія этого дня имѣла нѣкоторое своеобразное продолженіе.

Я знаю, что Глѣбъ Ивановичъ путешествовалъ много и всегда одинъ; значитъ, онъ какъ-то справлялся со всѣми условіями путешествія. Но меня всегда это удивляетъ, когда я вспоминаю его младенческую непрактичность и его отношеніе къ деньгамъ, какъ къ безразличному сору...

Во всякомъ случаѣ данное путешествіе закончилось не совсѣмъ обычнымъ образомъ. Денегъ ему не хватило. Имѣлъ ли на это обстоятельство какое-нибудь вліяніе человѣкъ, надъ которымъ была «сдѣлана подлость», или опять встрѣчались другіе люди, другіе итальянскіе мальчишки и зловѣщія старухи, которыхъ нужно было наказывать подачками денегъ, только уже въ Калачѣ (или Царицынѣ—не помню) случилась катастрофа: нужно было взять билетъ, а денегъ не оказалось ни копѣйки... Глѣбъ Ивановичъ самъ разсказывалъ мнѣ впослѣдствіи объ этомъ эпизодѣ, при чемъ его разсказъ, юмористическій и простодушный вмѣстѣ, удивлялъ меня опять тонкой смѣсью дѣтской наивности и улыбки надъ ней, совмѣщавшейся страннымъ образомъ въ одномъ и томъ же лицѣ.

— Да.. вотъ... Такъ какъ-то вышло. Смотрю: нѣтъ! Окончательно ничего! А тутъ одинъ поѣздъ уже ушелъ, пока я сводилъ свой бюджетъ... Другой, пожалуй, уйдетъ.

— И что же?

— Да вотъ видите: свѣтъ не безъ добрыхъ людей... Сторожъ выручилъ.

Оказалось, что, когда бюджетъ былъ сведенъ, Глѣбъ Ивановичъ не нашелъ сдѣлать ничего лучше, какъ поставить свой чемоданъ къ стѣнкѣ, усѣсться на него и ждать событій или вдохновенія. Такъ онъ просидѣлъ отходъ одного поѣзда. Когда народъ началъ набираться къ другому, онъ все сидѣлъ на чемоданѣ, наблюдая вокзальную толпу, чѣмъ обратилъ вниманіе служащаго, стоявшаго у двери. Его обязанность состояла въ томъ, чтобы открывать и закрывать двери и по пути наблюдать за публикой, чтобы не случалось какихъ-нибудь неблагополучій. Мало ли всякаго народу въ толпѣ! Среди этихъ наблюденій онъ не могъ, разумѣется, не замѣтить страннаго изящнаго господина, въ коричневомъ пальто и сѣрой поярковой шляпѣ, неподвижно сидѣвшаго на чемоданѣ.

— Что вы, господинъ, сидите? Вѣдь поѣздъ-то опять уйдетъ,—сказалъ онъ.

— Уйдетъ,—отвѣтилъ Глѣбъ Ивановичъ съ фаталистической увѣренностью.

— Такъ что же вы?

— Ничего, братъ, не подѣлаешь! Денегъ нѣтъ...

— Украли?.. Такъ вамъ бы заявить...

— Нѣтъ... не то чтобы украли... Просто, нѣтъ... нѣту, понимаешь... Не хватило.

— А сколько не хватаетъ-то?

— Да рублей десять бы нужно... Да, десять рублей (по-

чему-то эта цифра легче всего приходила въ голову Глѣбу Ивановичу).

— А куда ѣхать?

— Ѣду я въ N.

— А сколько же у васъ есть?

— Да вотъ видишь: ничего нѣту... Окончательно, ни копѣйки, ни одной...

Сторожъ смѣрилъ его удивленнымъ взглядомъ и сказалъ, переходя на ты:

— Чудакъ! Какъ же ты до N. доѣдешь на десять рублей, когда билетъ стоитъ пятнадцать? Да, скажемъ, хоть три рубля на харчъ, да на извозчика. Прямо говори: тебѣ нужно восемнадцать серебра.

— Да, да... именно выходитъ, что восемнадцать...

— Ну, вотъ что я тебѣ скажу...

Бывали-ли уже такіе случаи съ этимъ наблюдательнымъ человѣкомъ, много лѣтъ изучавшимъ людскую толпу у своей двери, или опять это нужно приписать особому впечатлѣнію наружности Успенскаго, только сторожъ самымъ дѣятельнымъ образомъ вошелъ въ интересы страннаго незнакомца. Онъ взялъ ему билетъ и далъ на руки три рубля. Справедливость требуетъ сказать, что къ суммѣ долга онъ прибавилъ два рубля вознагражденія за свои хлопоты и въ обезпеченіе уплаты оставилъ себѣ чемоданъ. Они условились, что Глѣбъ Ивановичъ пошлетъ ему деньги, въ томъ числѣ и на пересылку чемодана, а сторожъ пришлетъ чемоданъ багажемъ на нижегородскій вокзалъ, такъ какъ Успенскій опять предполагалъ побывать въ Нижнемъ. Конечно, всего проще было бы прислать чемоданъ на мое имя, но Глѣбъ Ивановичъ какъ-то «не догадался».

Деньги онъ послалъ вскорѣ же изъ Москвы, гдѣ мы съ нимъ встрѣтились, а поѣздку въ Нижній отмѣнилъ.

— Ну, Глѣбъ Ивановичъ,—пропалъ вашъ чемоданъ,—сказалъ я.—Сторожъ, разумѣется, оставитъ у себя и 18 рублей и чемоданъ.

— Нѣтъ!—съ увѣренностью сказалъ Успенскій.—Не такой человѣкъ... Просто превосходный человѣкъ. Навѣрное уже выслалъ, и накладная, пожалуй, уже на почтѣ. Получите, пожалуйста!

И, дѣйствительно, вернувшись въ Нижній, я справился на почтѣ и узналъ, что есть заказное письмо на имя Глѣба Ивановича изъ Калача или Царицына, но... мнѣ его не могли выдать безъ довѣренности. На вокзалѣ оказался чемоданъ, котораго опять я не могъ получить безъ квитанціи. А Глѣбъ Ивановичъ и по возвращеніи изъ своего путешествія все не посылалъ довѣренности. По моей просьбѣ на почтѣ удержали письмо, и лично, при свиданіи въ Петербургѣ я получилъ отъ Успенскаго обѣщаніе: «пришлю, непремѣнно! Вотъ увидите». Только въ январѣ слѣдующаго (1888-го) года пришла, наконецъ, нотаріальная довѣренность отъ «домашняго учителя» Успенскаго. «Сегодня,—писалъ мнѣ Глѣбъ Ивановичъ 18 января,—послалъ я вамъ довѣренность на полученіе моего хоботья, но кажется перевралъ адресъ... Посылаю это письмо на удачу... Хламье мое пусть лежитъ у васъ столько, сколько оно захочетъ»...

Однако, когда я опять справился на почтѣ то оказалось, что письма уже нѣтъ, а на вокзалѣ, «неизвѣстно кому принадлежавшій чемоданъ съ бѣльемъ, носильнымъ платьемъ и пальто»—былъ проданъ съ аукціона.

На Глѣба Ивановича печальная судьба чемодана не произвела ни малѣйшаго впечатлѣнія. Нѣсколько разъ онъ вспоминалъ только, что остался долженъ намъ за билетъ... «Непремѣнно пришлю»,—прибавлялъ онъ при этомъ... Отъ одного человѣка, говорившаго о слабостяхъ

Глѣба Ивановича, я слышалъ, между прочимъ, что онъ былъ не всегда аккуратенъ въ уплатѣ долговъ... Фактически это, можетъ быть, было вѣрно, какъ и то, что Успенскій пилъ вино... Но этотъ упрекъ показываетъ только, что говорившій не имѣлъ ни малѣйшаго понятія объ Успенскомъ. Быть всегда аккуратнымъ въ уплатѣ всѣхъ этихъ маленькихъ долговъ для него было такъ же трудно, какъ не отдать всего, что у него было, первому встрѣчному. И это такъ же мало касается оцѣнки этого человѣка, какъ и толки объ алкоголизмѣ...

Но что эта черта—пренебреженіе къ деньгамъ и неразсчетливость страшно вредила Успенскому, вынуждая къ труду для заработка,—это, къ сожалѣнію, вѣрно.

VI.

Описанный выше пріѣздъ Успенскаго остался въ моей памяти самымъ свѣтлымъ воспоминаніемъ, свободнымъ еще отъ жуткихъ опасеній послѣдующихъ годовъ. Правда, въ немъ была уже и тогда эта тревожная печаль, эта неотвязность болящихъ и грустныхъ мыслей, эта особенная чуткость, которая даже общимъ понятіямъ придавала для него силу и боль реальныхъ ощутительныхъ явленій. Но я не зналъ его инымъ, и все это казалось почти нормальнымъ состояніемъ человѣка, уже въ юности плакавшаго безъ видимыхъ причинъ и содрогавшагося при всякомъ напоминаніи о прежней дореформенной средѣ и прежней жизни... Правда, къ чувству умиленія, вызываемому этой удивительной человѣческой особью, уже порой присоединялось смутное опасеніе, какъ бы предчувствіе, что такая впечатлительность и такая жизнь не можетъ быть прочной. Но это было именно только смутное предчувствіе, дѣлавшее симпатію къ нему близко знавшихъ его людей

чуткой и опасливой. Но самъ онъ бывалъ еще оживленъ, остроуменъ, веселъ, много работалъ, и наши тревоги смолкали.

Въ слѣдующій пріѣздъ въ Нижній зловѣщіе признаки выступали уже замѣтнѣе. Выраженіе лица было болѣе страдальческое; онъ жаловался на галлюцинаціи обонянія и потерю вкуса.

— Ничего не ощущаю... точно шапку солдатскую жуешь,—по-своему причудливо выражалъ онъ это ощущеніе. Его особенный юморъ, которымъ природа надѣлила его въ такомъ изобиліи и который, быть можетъ, одинъ долго служилъ противоядіемъ печали, разъѣдавшей эту чуткую душу,—вспыхивалъ все рѣже, а печаль выступала все острѣе и ощутительнѣе. Впечатлительность какъ будто еще обострялась, или сила сопротивленія слабѣла...

Изъ этого періода мнѣ вспоминается одинъ небольшой эпизодъ. Войдя въ мой кабинетъ, онъ увидѣлъ надъ столомъ большой литографированный портретъ Л. Н. Толстого.

— Что это значитъ?—спросилъ онъ, указывая глазами на портретъ. Это былъ періодъ, когда великій писатель находился въ полемическомъ фазисѣ «непротивленія», когда изъ-подъ его пера появилась сказка объ Иванѣ дуракѣ и другіе разсказы той же серіи, изъ-за которыхъ еще не развернулась новая эволюція этого безпокойнаго и могучаго духа.

Я отвѣтилъ Глѣбу Ивановичу—передъ чѣмъ именно я преклоняюсь въ этомъ человѣкѣ. Онъ долго и задумчиво смотрѣлъ своими печальными глазами въ суровыя черты портрета и потомъ сказалъ:

— Да! Я вотъ давно собираюсь къ нему... Поговорить... о многомъ...

И потомъ, улыбнувшись, прибавилъ:

— Боюсь все. Огромный онъ... А всетаки соберусь, непремѣнно... Вотъ укрѣплюсь и поѣду поговорить... о многомъ.

Сколько мнѣ извѣстно, онъ такъ и не собрался. Всю свою жизнь онъ отдалъ на служеніе любви и правдѣ, не теоретизируя объ ихъ конечномъ источникѣ... Однако въ послѣдній періодъ въ его рѣчахъ и писаніяхъ слова «Богъ», «нѣтъ Бога въ душѣ» попадались часто, и мнѣ кажется, что въ нихъ было больше, чѣмъ простая форма выраженія извѣстной мысли. Можетъ быть, уже тогда въ взволнованной душѣ Успенскаго вставали мысли и образы, которые впослѣдствіи отлились въ опредѣленныя представленія инокини Маргариты, ангеловъ, Бога... И въ содроганіи чуткой души передъ огромностію этихъ вопросовъ уже чувствовалась, можетъ быть, надломленность и страданіе надвигавшейся болѣзни...

Свои статьи этого времени онъ буквально писалъ сокомъ уже больныхъ нервовъ, а не писать не могъ. Онъ все равно переживалъ ихъ всѣмъ своимъ существомъ, страдалъ и мучился своими темами.

Помню, однажды, войдя къ Н. К. Михайловскому, жившему тогда въ Пале-роялѣ, на Пушкинской,—я засталъ въ его номерѣ Глѣба Ивановича. Онъ сидѣлъ на кушеткѣ съ папиросой въ рукахъ. Лицо у него было искаженное внутренней болью, одна бровь поднялась значительно выше, въ глазахъ душевная тревота Это было время, когда онъ писалъ разсказъ «Взбрело въ башку». Сюжетъ разсказа разыгрывался у него на глазахъ, въ Чудовѣ, и на нѣкоторое время всѣхъ насъ, своихъ друзей, онъ втянулъ въ эту печальную исторію, всѣ фазы которой онъ переживалъ,

какъ мы переживаемъ развѣ опасную болѣзнь самыхъ близкихъ людей. Въ этотъ разъ онъ уговорилъ меня ѣхать съ нимъ въ Чудово, желая показать этого человѣка:

— Можетъ, вы ему что нибудь скажете... Вы не можете собѣ представить, что это за человѣкъ... Какая душа! Просто замѣчательная! И какъ его всего перевернуло... Вотъ вы увидите сами... вотъ увидите!

Человѣкъ этотъ былъ мѣстный крестьянинъ, занимавшійся извозомъ, и, пріѣхавъ въ Чудово, Глѣбъ Ивановичъ тотчасъ же кинулся къ периламъ деревяннаго вокзальнаго перрона, выглядывая своего Герасима (имя я, впрочемъ, забылъ) среди ожидавшихъ на площади извозчиковъ. Теперь каждый разъ, когда я проѣзжаю мимо Чудова, мнѣ кажется, что я вижу фигуру Глѣба Ивановича, перегнувшагося черезъ перила и всматривающагося съ выраженіемъ такой тревоги и опасенія, какъ будто онъ ждалъ вѣсти объ опасно заболѣвшемъ собственномъ ребенкѣ.

Герасима не оказалось, и вмѣсто него насъ повезъ другой извозчикъ, мужиченко непріятнаго вида, болтливый, съ фальшивыми нотами въ голосѣ. Глѣбъ Ивановичъ спросилъ у него о Герасимѣ, и затѣмъ, при разглагольствованіяхъ нашего возницы, какія-то тѣни внутренней боли проходили по его лицу.

— Вотъ... вотъ видите...—сказалъ онъ мнѣ, при какой-то особенно рѣзнувшей ухо фразѣ извозчика...—Никогда Герасимъ не скажетъ такого. Ник-когда! Просто удивительно деликатный человѣкъ.

Пріѣхавъ къ своему дому, онъ отдалъ извозчику деньги и сказалъ:

— Пожалуйста, теперь пришли мнѣ Герасима. Черезъ 2 часа опять на вокзалъ...

— Да что вамъ, Глѣбъ Ивановичъ, Герасима,—сказалъ извозчикъ.—Я самъ доставлю.

— Герасима... Герасима мнѣ... Понимаешь. Мнѣ нужно...

— Да на что же Герасима, когда я...

Глѣбъ Ивановичъ, собравшійся уходить, вдругъ повернулся, пристально всмотрѣлся въ мужика и, вынувъ бумажку, сунулъ ему въ руки.

— Вотъ... возьми. Тебѣ непремѣнно денегъ хочется. Вотъ, вотъ... вотъ тебѣ, вотъ! Теперь пришли Герасима, а самъ не приходи, пожалуйста... Сдѣлай ты мнѣ одолженіе: не приходи...

На лицѣ его было то же выраженіе, какъ въ сценѣ съ старухой на пароходѣ: гнѣвъ, презрѣніе къ деньгамъ и къ человѣку, которому только онѣ и были нужны, и страданіе за него и за себя. На этотъ разъ мнѣ показалось еще, что онъ откупается отъ этой мучительной для него неискренности. Однако, Герасима всетаки не оказалось, и насъ на вокзалъ повезъ другой извозчикъ.

Это настроеніе непереносности обычныхъ житейскихъ лжи и фальши, неправды и страданія, мимо которыхъ мы, люди съ болѣе грубыми нервами, проходимъ довольно равнодушно, которую прежде Успенскому помогала переносить смягчающая юмористическая складка—теперь усиливалось быстро изъ года въ годъ. Прежде онъ любилъ пріѣзжать въ Москву и иной разъ, остановившись въ гостиницѣ, кончалъ здѣсь статьи для «Русскихъ Вѣдомостей» или «Русской Мысли». Современемъ, однако, ему становилась невыносима обстановка гостиницъ и меблированныхъ комнатъ.

— Знаете!—радостно сообщилъ онъ мнѣ однажды, при встрѣчѣ въ Москвѣ.—Нашелъ таки! Просто превосходно!

— Что вы нашли, Глѣбъ Ивановичъ?

— Гостиницу нашелъ... Такую, въ которой можно жить... Просто рай. Номерки новые, еще не подернулись всей этой подлостью... Прислуга веселая, привѣтливая... должно быть, платятъ хозяева по-божески. Просто превосходно. Вотъ приходите, увидите сами...

Не помню, въ этотъ ли пріѣздъ, или въ другой я разыскалъ таки Глѣба Ивановича въ этомъ хваленомъ его раѣ. И первое, что мнѣ бросилось въ глаза при входѣ на лѣстницу, это было лицо самого Успенскаго, склонившееся съ верхней площадки. Бровь опять была высоко поднята, на лицѣ опять выраженіе боли...

— Что съ вами, Глѣбъ Ивановичъ?

Онъ еще не отвѣтилъ, какъ въ корридорѣ затрещалъ электрическій звонокъ. Гдѣ-то хлопнула дверь. Женщина съ усталымъ лицомъ понеслась кверху по лѣстницѣ. Изъ какой-то коморки послышался плачъ ребенка. Все это я помню такъ ясно, какъ будто слышалъ и видѣлъ только вчера. Но все это я воспринялъ черезъ Глѣба Ивановича, такъ какъ и звонокъ, и суетливая бѣготня, и плачъ ребенка отражались на его изстрадавшемся лицѣ.

— Вотъ... вотъ видите. Не прошло и пяти минутъ — четвертый разъ... Ну, вотъ еще...

Новый трескъ электрическаго звонка прошелъ по его лицу новой волной нервной боли...

— Такъ и зналъ! Четырнадцатый номеръ,—сказалъ онъ, указывая на электрическій счетчикъ... Второй разъ... Это онъ, негодяй, сидитъ на своей постели... подай ему со стола стаканъ воды... Вотъ... вотъ опять... Господи Боже!

И этотъ его недавній рай уже былъ отравленъ для него навсегда. Кто изъ насъ замѣчалъ эти стороны

гостиничной жизни, кому изъ насъ было бы интересно узнавать, сколько разъ звонилъ четырнадцатый номеръ и почему хлопаетъ внизу дверь, заглушая крикъ «собственнаго ребеночка» гостиничной прислуги. А между тѣмъ, вся эта прозаическая изнанка жизни непроизвольно раскрывалась передъ Успенскимъ, со всѣмъ, что въ ней было нехорошаго и тяжелаго, — и мучила его чужой усталостью и чужой болью...

Помню, что послѣ этого въ нѣкоторыхъ изъ статей Глѣба Ивановича фигурировали и $1^1/_2$ миллиметра, и звонки, и четырнадцатый номеръ, и статистическія дроби, и «живыя цифры»... И во всемъ этомъ уже чувствовалось развязка этой трагической жизни. Юморъ постепенно исчезалъ, какъ меркнутъ краски живого пейзажа подъ надвигающейся грозовою тучей. Помню что одного изъ этихъ разсказовъ («Квитанція») я уже не могъ дочитать громко до конца: это былъ сплошной вопль лучшей человѣческой души, въ конецъ истерзанной чужими страданіями и неправдой жизни, въ которой она-то менѣе всѣхъ была повинна.

V.

Кажется, въ 1893 году Глѣбъ Ивановичъ пріѣхалъ въ послѣдній разъ въ Нижній-Новгородъ. На вокзалѣ мы встрѣтили его той же компаніей, съ которой когда-то онъ бродилъ по откосу, большинство членовъ которой онъ уже зналъ и любилъ. Но самъ Успенскій былъ уже не тотъ. Не было того оживленія, той улыбки, которая такъ часто сверкала тогда сквозь привычную печаль его глазъ. На лицѣ его лежала безпросвѣтная грусть.

Когда мы переѣхали черезъ Оку и стали на извоз-

чикѣ подыматься по взъѣзду, я въ первый разъ увидѣлъ, какъ онъ закрылъ всей ладонью лицо, начиная отъ лба до подбородка; глаза тоже были закрыты, и подъ этимъ прикрытіемъ онъ шепталъ что-то тихо и умиленно, какъ будто говорилъ съ кѣмъ-то невидимымъ и молился...

Это уже начиналась другая, таинственная жизнь омраченнаго духа, другое, параллельное существованіе... Черезъ минуту онъ очнулся, оглянулся на свѣтлый день, на Оку, на уступы горъ, и взглядъ его упалъ на ѣхавшаго впереди, на извозчикѣ, сына.

— Вы...—сказалъ онъ—и Сашечка... Хорошо...

Около двухъ недѣль прожилъ онъ тогда въ Нижнемъ-Новгородѣ, то у С. Я. Елпатьевскаго, то у меня... Часто, среди разговора, даже въ многочисленномъ обществѣ онъ вдругъ закрывалъ глаза ладонью исхудавшей тонкой руки и начиналъ шептать. Мнѣ онъ говорилъ нѣсколько разъ, просто и задушевно, о томъ, что онъ бесѣдуетъ въ эти минуты съ «инокиней Маргаритой», чистѣйшимъ существомъ («женщина — чистѣйшее существо»), въ которомъ страннымъ образомъ сливаются нѣсколько лицъ, въ томъ числѣ—боровшіяся и пострадавшія въ борьбѣ. И она говоритъ ему хорошія рѣчи, иногда горько упрекаетъ его а иногда ободряетъ. И что онъ дѣлается легкій... и скоро полетитъ... А затѣмъ—онъ совершенно просто переходилъ къ житейскимъ темамъ и нѣсколько разъ, помню, повторилъ:

— Смотрите на мужика... Всетаки надо... надо смотрѣть на мужика...

Послѣ этого онъ уѣхалъ, и уже навсегда ушелъ отъ насъ—внѣшнимъ образомъ въ Колмово, внутреннимъ — въ свои видѣнія...

Все, что могла сдѣлать наука, согрѣтая личной при-

Библіотека 12-й школы Смольн. р-на
№ 6787

вязанностью и любовью,—все, кажется, было сдѣлано. Но... мнѣ иногда приходитъ въ голову, что, живи мы въ другое время, все это, можетъ быть, и сложилось бы по иному. Можетъ быть гораздо хуже и жесточе, а можетъ быть и лучше... Несомнѣнно, что въ этомъ изстрадавшемся чужими страданіями подвижникѣ литературы въ послѣдній періодъ жизни проснулся обычный типъ подвижника, знакомый нашей русской, порою жестокой, порою простодушной родной старинѣ. И, можетъ быть, въ другія времена его бы оставили на свободѣ, и онъ бродилъ бы по деревнямъ, или жилъ бы въ какой-нибудь обители, и говорилъ бы людямъ о своей инокинѣ Маргаритѣ, которая учитъ побѣждать въ человѣкѣ звѣря и помогаетъ святому Глѣбу бороться съ животнымъ Иванычемъ, и раскрываетъ свѣтлое небо... И его слушали бы темные люди и ловили бы въ темныхъ рѣчахъ мерцаніе небесной правды...

Впрочемъ,—едва ли это было бы лучше. Всю жизнь—онъ стремился къ одной только правдѣ, хотя бы и болящей, но истинной...

Воспоминанія о Чернышевскомъ.

Воспоминанія о Чернышевскомъ.

I.

Я помню, еще въ раннемъ дѣтствѣ мнѣ попался фантастическій польскій разсказъ. Герой его молодымъ человѣкомъ пробрался потаеннымъ ходомъ въ погребокъ, гдѣ хранилось чудесное старое вино, лежавшее въ землѣ, въ невѣдомомъ тайникѣ, нѣсколько столѣтій. Молодой человѣкъ выпилъ стаканъ и заснулъ. Заснулъ такъ крѣпко, что, пока онъ спалъ въ своемъ убѣжищѣ,—на землѣ бѣжали года, событія смѣнялись, XVIII столѣтіе отошло въ вѣчность, Польшу раздѣлили между собою враги. И вотъ, въ одинъ прекрасный день, на улицѣ русской уже Варшавы, съ вывѣсками на двухъ языкахъ и съ городовыми на каждомъ углу—появляется какая-то архаическая фигура въ старопольскомъ одѣяніи, съ «карабеллой» у пояса, съ кармазиновыми отворотами рукавовъ и съ страшной сѣдой бородой.

Дальнѣйшая часть разсказа посвящена развитію этого совершенно исключительнаго и, повидимому, невозможнаго положенія.

Такое именно невозможное и фантастическое явленіе совершилось почти на нашихъ глазахъ съ Чернышевскимъ. Правда, надъ его головой промчалось не столѣтіе, а всего двадцать лѣтъ, но эти двадцать лѣтъ

стоили цѣлаго вѣка. Въ эти двадцать лѣтъ физіономія Россіи измѣнилась, пожалуй, болѣе, чѣмъ за цѣлое предшествовавшее столѣтіе. Въ остальномъ параллель тоже очень близка. Опьяненный захватывающимъ, одуряющимъ потокомъ событій, надеждъ и ожиданій только что начавшейся реформы,—онъ попадаетъ въ далекіе казематы Кадаинскаго и Александровскаго рудниковъ, Акатуя, потомъ на Вилюй. Развѣ все, что онъ тамъ видѣлъ, въ этихъ глухихъ углахъ, отставшихъ на цѣлое столѣтіе даже отъ дореформенной Россіи—не могло показаться страннымъ сномъ, подъ далекіе отголоски оставленной жизни, гулъ которой катился надъ его головой, какъ гулъ и выстрѣлы въ осажденной Варшавѣ надъ головой спящаго въ подземельи поляка.

Безъ сомнѣнія, когда этотъ полякъ исчезъ невѣдомо куда,—его искали; быть можетъ даже догадывались, что онъ недалеко, можетъ быть рылись и стучали въ нѣсколькихъ саженяхъ отъ погреба. А потомъ стали забывать, и, наконецъ, тѣ, кто искалъ, перемерли, а въ средѣ оставшихся потомковъ повторялась только легенда,—что былъ еще одинъ человѣкъ, и даже хорошій былъ человѣкъ, но исчезъ безъ слѣда.

Чернышевскаго тоже искали... Его потеря была очень чувствительна для передовой части общества, и примириться съ нею было трудно. Уже въ дѣлѣ каракозовцевъ есть упоминаніе о намѣреніи освободить Чернышевскаго. Извѣстны затѣмъ попытки Г. А. Лопатина и Ипполита Мышкина. Послѣдній 12 іюля 1875 года явился даже въ Вилюйскъ подъ видомъ жандармскаго офицера Мещеринова и предъявилъ предписаніе о немедленной выдачѣ Чернышевскаго для препровожденія изъ Вилюйска въ Благовѣщенскъ. У исправника возникло подозрѣніе—говорили, что у Мышкина аксель-

бантъ былъ повѣшенъ на лѣвомъ плечѣ, вмѣсто праваго, но это невѣрно. Важнѣе было то обстоятельство, что мнимый Мещериновъ не представилъ предписанія отъ Якутскаго губернатора, какъ это требовалось по инструкціи. Исправникъ отказался выдать Чернышевскаго. Мышкинъ пытался бѣжать, былъ арестованъ, судился по такъ называемому «большому процессу» (и впослѣдствіи погибъ въ Шлиссельбургѣ). Чернышевскій обратился съ убѣдительной просьбой не дѣлать болѣе такихъ попытокъ, и письмо его въ этомъ смыслѣ было напечатано въ 70-хъ годахъ въ заграничныхъ изданіяхъ. Въ послѣдующіе годы о Чернышевскомъ говорили все меньше и меньше, а въ печати самая его фамилія признавалась «нецензурной». Его «Что дѣлать?» читалось и комментировалось въ кружкахъ молодежи, но лучшія его произведенія, вся его яркая, кипучая и благородная дѣятельность постепенно забывалась по мѣрѣ того, какъ истрепывались и становились библіографической рѣдкостью книжки «Современника». О самомъ Чернышевскомъ доходили до насъ смутные, сбивчивые слухи. Возникнувъ еще въ 70-хъ годахъ, когда въ одномъ извѣстномъ тогда стихотвореніи («На смерть Мезенцова») говорилось:

...Угасаетъ въ далекой якутской тайгѣ
Яркій свѣточъ науки опальной,—

одинъ изъ этихъ слуховъ проводилъ Чернышевскаго въ могилу. Говорили, что умственныя способности его угасли и даже,—что онъ помѣшанный. Что онъ до конца сохранилъ силу своего могучаго мозга—это онъ, впрочемъ, доказалъ въ послѣдніе годы невѣроятно энергической работой по переводамъ. Но что у него не «все въ порядкѣ»—объ этомъ я слышалъ еще за нѣсколько не-

дѣль до его смерти и отъ людей, которые имѣли случай видѣть его и говорить съ нимъ лично.

Самостоятельныя статьи его не имѣли уже особеннаго значенія и не были даже замѣчены.

Во всякомъ случаѣ, и онѣ вызывали покачиваніе головами необычностью въ наше время и странностью тона. Однако всѣ эти слухи совершенно невѣрны и легко объясняются двумя обстоятельствами: Чернышевскій всегда былъ немножко чудакъ, это во-первыхъ. А во-вторыхъ, всѣ, на кого онъ производилъ такое странное впечатлѣніе, не читали, вѣроятно, того разсказа, о которомъ я упомянулъ вначалѣ, и не принимали въ соображеніе, что Чернышевскій вернулся къ намъ изъ глубины 50-хъ и начала 60-хъ годовъ. Бѣда состояла не въ томъ, что онъ «измѣнился»... Нѣтъ, дѣло, наоборотъ, въ томъ, что онъ остался прежнимъ, съ прежними пріемами мысли, съ прежней вѣрой въ одинъ только всеустроительный разумъ, съ прежнимъ «пренебреженіемъ къ авторитетамъ», тогда какъ мы пережили за это время цѣлое столѣтіе опыта, разочарованій, разбитыхъ утопій и пришли къ излишнему невѣрію въ тотъ самый разумъ, передъ которымъ преклонялись вначалѣ *).

Чернышевскій явился къ намъ, какъ архаическая фигура поляка XVIII вѣка на макадамовой мостовой русской Варшавы. Насъ онъ не зналъ вовсе, а его мы успѣли забыть, и его обликъ,—прежній обликъ—казался намъ уже страннымъ.

Впрочемъ, кажется, я позволилъ себѣ уже слишкомъ длинное отступленіе отъ прямой задачи настоящаго небольшого очерка. Задача эта—сообщить тѣ (очень не-

*) Моя статья писана въ началѣ 90-хъ годовъ.

многія, къ сожалѣнію) свѣдѣнія о Чернышевскомъ послѣ его ссылки, которыя мнѣ удалось собрать во время странствій въ сосѣднихъ съ нимъ мѣстахъ, частью отъ лицъ, жившихъ вмѣстѣ съ нимъ, частью же—отъ самого Чернышевскаго, котораго я видѣлъ и съ которымъ познакомился въ августѣ 1889 года, за два мѣсяца до его смерти.

II.

Въ 1881 году судьба закинула меня въ далекую Сибирь, въ ту самую Якутскую область, гдѣ въ это время уже находился Чернышевскій. Когда я былъ въ Иркутскѣ, меня опять встрѣтили здѣсь постоянно ходившіе слухи: говорили, что Чернышевскій умеръ и что за нѣсколько лѣтъ до смерти онъ уже былъ сумасшедшимъ. Объясняли даже причину: могучій умъ, истомленный бездѣятельностью, не находилъ исхода. Чернышевскій будто бы постоянно писалъ съ утра до ночи, но, боясь, что рукописи (какъ бывало прежде) будутъ отобраны, сжигалъ ихъ въ каминѣ. Это будто бы и стало исходной точкой помѣшательства еще до перевода въ Якутскую область.

По пріѣздѣ на мѣсто,—въ слободѣ Амгѣ, въ 200-хъ верстахъ отъ Якутска, — я узналъ, что слухъ о смерти положительно невѣренъ, а слухъ о помѣшательствѣ опровергался за все время пребыванія его въ Забайкальи. Оказалось, что, частью въ слободѣ гдѣ я жилъ, частью не въ дальнихъ разстояніяхъ отъ нея—находились товарищи Чернышевскаго по заключенію. Это были «Каракозовцы» (нынѣ всѣ уже возвращены въ Россію) или ссыльные по дѣлу о воскресныхъ школахъ, дѣлу еще болѣе раннему, о которомъ теперь почти уже исчезли самыя воспоминанія, какъ о первыхъ наивныхъ еще

проблескахъ начинавшагося движенія, впослѣдствіи въ 70-е и 80-е годы наводнившаго Сибирь цѣлыми отрядами политическихъ ссыльныхъ.

Отъ нихъ я узналъ, что всѣ тревожные слухи о болѣзни Чернышевскаго не имѣли ни малѣйшаго основанія. Будучи высланъ сначала въ Кадаю (на монгольской границѣ), а потомъ въ Нерчинскіе рудники, Чернышевскій жилъ одно время вмѣстѣ съ партіей поляковъ. Дворъ, обнесенный деревяннымъ частоколомъ съ заостренными концами, внутри—деревянные домики казенной упрощенной донельзя архитектуры, кордегардія съ конвойными солдатами, полосатая будка у воротъ, и изъ-за частокола кругомъ вдалекѣ туманныя высокія горы Забайкалья, — такова обычная обстановка этихъ казематовъ. Поляки были по большей части люди простого званія, которые каждый день уходили на работы въ разрѣзъ. Тогда во дворѣ, обнесенномъ частоколомъ, и въ сѣрыхъ домахъ съ рѣшетками становилось пусто и тихо, и только въ одной каморкѣ сидѣлъ надъ своими книгами Чернышевскій. Я встрѣтилъ впослѣдствіи одного изъ этихъ поляковъ. Онъ разсказывалъ мнѣ, что всѣ они очень уважали и любили Чернышевскаго. Его добродушіе, постоянная серьезность и умѣніе при случаѣ говорить просто съ простыми людьми пріобрѣли ему общую симпатію, и они привыкли обращаться къ нему за разрѣшеніемъ своихъ споровъ и недоразумѣній, которые такъ часты въ этихъ тѣсныхъ норахъ, гдѣ люди отъ тоски готовы нерѣдко съѣсть другъ-друга, какъ мыши, попавшія въ стеклянную банку, откуда нѣтъ выхода. И Чернышевскій всегда съ необычайнымъ терпѣніемъ входилъ во всѣ мелочи подобныхъ разбирательствъ. До него, говорилъ мнѣ этотъ полякъ, дѣло доходило до того, что однажды, по общему приговору, поляки высѣкли

одного изъ своихъ товарищей. При немъ не повторялось ничего подобнаго.

Къ этому времени относится одинъ разсказъ, слышанный мною тоже отъ очевидца. «Вообще, говорилъ мнѣ одинъ интеллигентный полякъ *), тоже жившій вмѣстѣ съ Чернышевскимъ, мы никогда не видѣли его унывающимъ или печальнымъ. О причинахъ своей ссылки онъ говорить не любилъ. «Вѣроятно они тамъ знаютъ, за что сослали, а я не знаю», — и затѣмъ отдѣлывался какимъ-нибудь анекдотомъ или шуткой. Только одинъ разъ мы видѣли, какъ онъ заплакалъ. Мы сидѣли съ нимъ на дворѣ, когда принесли письма и журналы. Чернышевскій надѣлъ очки, развернулъ книгу, перелистовалъ ее, потомъ книга выскользнула у него изъ рукъ, онъ всталъ и быстро ушелъ къ себѣ. Мы замѣтили у него на глазахъ слезы». Въ журналѣ были напечатаны извѣстные стихи Некрасова Муравьеву (тѣ самые, по поводу которыхъ прислано Некрасову стихотвореніе: «Не можетъ быть»). Когда я передавалъ этотъ эпизодъ современникамъ и знакомымъ Некрасова и Чернышевскаго, — они выразили основательныя сомнѣнія въ точности самаго разсказа или моей передачи. Помнится, что дѣйствительно стихи Некрасова Муравьеву были прочитаны на торжественномъ обѣдѣ, но напечатаны не были, и на вопросъ поэта — Муравьевъ будто-бы самъ отвѣтилъ: «Мой совѣтъ не печатать». Я привожу этотъ разсказъ потому, во-первыхъ, что все-таки далеко не увѣренъ, что, хотя бы и по какому нибудь другому случаю, не было подобнаго эпизода, а во-вторыхъ, онъ до извѣстной степени рисуетъ настроеніе, которое приходилось пере-

*) Станиславъ Рыхлинскій, умершій въ Иркутскѣ въ 1904 году.

живать Чернышевскому въ далекомъ Забайкальи, когда до него доходили вѣсти о жестокостяхъ съ одной, и отступничествахъ съ другой стороны въ эти первые годы, послѣдовавшіе за его ссылкой *)...

Не знаю—въ Нерчинскѣ, или уже по переводѣ въ Акатуй въ тюрьму, гдѣ содержался Чернышевскій, стали присылать русскихъ политическихъ ссыльныхъ. Такимъ образомъ, составилось цѣлое общество, въ которомъ были также интеллигентные поляки и даже два итальянца гарибальдійца, участвовавшіе въ польскомъ возстаніи, вскорѣ, впрочемъ, помилованные и высланные на родину.

Вся эта компанія жила однимъ кружкомъ, и только Чернышевскій по прежнему держался нѣсколько въ сторонѣ. Впрочемъ, нельзя сказать, чтобы онъ удалялся сознательно отъ товарищей по заключенію,—нѣтъ, онъ былъ знакомъ со всѣми, а съ нѣкоторыми даже довольно друженъ; но всетаки онъ стоялъ по возрасту и по интересамъ внѣ кружка, не участвуя въ его интимностяхъ, маленькихъ партіяхъ, ссорахъ и примиреніяхъ.

Порой въ общей камерѣ устраивались чтенія или рефераты. Въ кружкѣ были свои поэты, политико-экономы, критики и публицисты. Чернышевскій тоже слушалъ эти чтенія, а иногда и участвовалъ въ нихъ очень оригинальнымъ образомъ. Онъ приходилъ съ толстой тетрадью, садился, раскрывалъ ее и читалъ свои повѣсти, длинныя аллегоріи и т. д. Чтеніе это продолжалось иногда два-три вечера. Одинъ изъ слушателей (г. Шага-

---

*) Г-нъ Богучарскій въ „Мірѣ Божіемъ" (янв. 1905) высказываетъ весьма вѣроятное предположеніе, что рѣчь идетъ о другомъ стихотвореніи Некрасова, а именно о стихахъ въ честь Комисарова-Костромскаго, напечатанныхъ въ апрѣльской книжкѣ „Современника" 1866 года.

новъ) записалъ впослѣдствіи содержаніе нѣкоторыхъ изъ этихъ произведеній.

Я не стану повторять ихъ здѣсь, тѣмъ болѣе, что большая часть деталей, полученныхъ уже мною изъ вторыхъ рукъ, исчезли изъ моей памяти. Скажу только, что одинъ изъ такихъ разсказовъ представлялъ цѣлую повѣсть, съ очень сложнымъ дѣйствіемъ, съ массой приключеній, отступленій научнаго свойства, психологическимъ и даже физіологическимъ анализомъ. Читалъ Чернышевскій неторопливо, но спокойно и плавно. Каково же было удивленіе слушателей, когда одинъ изъ нихъ, заглянувъ черезъ плечо лектора, увидѣлъ, что онъ самымъ серьезнымъ образомъ смотритъ въ чистую тетрадь и перевертываетъ не записанныя страницы.

Впослѣдствіи и мой братъ, хорошо знавшій покойнаго, а отчасти и я самъ, имѣли случай убѣдиться въ этой удивительной способности къ импровизаціи, которая чрезвычайно походила на чтеніе хорошо написаннаго и въ совершенствѣ отдѣланнаго литературнаго разсказа. Здѣсь выступаетъ также и другая черта покойнаго, которую я узналъ въ немъ при личномъ знакомствѣ: это какое-то особое добродушное лукавство, съ которымъ онъ порой любилъ мистифицировать собесѣдника. Разговаривая съ нимъ, никогда не мѣшало держать ухо востро, чтобы не принять въ серьезъ какую-либо шутку. Кромѣ того, онъ часто, развивая какую-нибудь сложную мысль, — отмѣчалъ ходъ своей аргументаціи, такъ сказать, отдѣльными вѣхами, снимая всѣ логическіе мостики, облегчающіе слушателю возможность легко и безъ труда слѣдовать за нимъ, и вамъ приходилось дѣлать самые неожиданные скачки, чтобы не отстать и не потерять изъ виду общей связи. Но зато, если вы понимали его шутку и не теряли нити, въ его добродушно-лука-

выхъ глазахъ вспыхивало выраженіе удовольствія, почти наслажденія.

Такимъ я увидѣлъ его въ 1889 году, незадолго до кончины, такимъ же рисуетъ его и приведенный только что разсказъ. Съ этой оговоркой я могу, пожалуй, привести и содержаніе самой повѣсти, прося помнить, что мы не имѣемъ данныхъ для сужденія, насколько мысли, въ ней высказанныя, слѣдуетъ принимать серьезно или считать простой шуткой, упражненіемъ могучаго и нѣсколько юмористически въ то время направленнаго ума среди казематной скуки и казематнаго бездѣлья. Замѣчу, что заглавіе повѣсти было «Не для всѣхъ» (или «Другимъ нельзя»).

Дѣйствующія лица: русская дѣвушка и два ея поклонника. Оба умны, оба хороши собой, оба влюблены въ нее. У обоихъ есть, конечно, свои особенности ума и характера, есть и недостатки; но все это природа распредѣлила между ними такъ, что черты одного дополняютъ черты другого. Дѣвушка и любитъ ихъ обоихъ. Когда порой она рѣшается отдать предпочтеніе одному изъ искателей, то чувствуетъ также, что другой образъ ей приходится съ болью отрывать отъ сердца, что тѣ свойства души, которыя приходится отвергнуть, тоже привлекаютъ ее и ей трудно отъ нихъ отказаться. Тогда два друга-соперника рѣшаются кинуть жребій, и одинъ уступаетъ съ пути, исчезая куда-то безъ вѣсти и навсегда.

Молодая женщина сильно чувствуетъ всетаки потерю: любовь мужа не можетъ дать ей полнаго успокоенія. Она чахнетъ, и доктора совѣтуютъ путешествіе. На Великомъ океанѣ ихъ застаетъ штормъ. Корабль носится по волнамъ, безъ руля, съ изорванными парусами, приблизительно такъ, какъ это происходитъ во многихъ

романахъ съ «захватывающей» фабулой, которые съ большимъ юморомъ пародируются въ этой части разсказа. Конецъ бури застаетъ молодого человѣка и его жену погибающими въ волнахъ вблизи невѣдомаго острова. Въ послѣднія мгновенія, когда истощены всѣ силы,— кто-то кидается къ нимъ съ острова на помощь, и они спасены.

Но тутъ оказывается, что спасенные отъ ярости стихій,—они становятся жертвами насмѣшливой судьбы. Ихъ спаситель—не кто иной, какъ все тотъ же, навсегда исчезнувшій другъ и соперникъ, и вопросъ возникаетъ вновь въ формѣ тѣмъ болѣе трагической, что островъ совершенно необитаемъ, и они на немъ единственные жители, окруженные со всѣхъ сторонъ насмѣшливо ревущимъ океаномъ. Разыгрывается цѣлый романъ со сценами мученій, ревности и безысходнаго отчаянія. Наконецъ, когда положеніе обостряется до послѣдней степени, кому-то (кажется, именно молодой женщинѣ) приходитъ въ голову исходъ изъ невыразимо запутаннаго положенія и притомъ исходъ, который если и грѣшитъ чѣмъ-нибудь, то именно излишней простотой. Зачѣмъ всѣ эти мученія, ведущія къ ненависти, къ возможности убійства, къ очевидной гибели всѣхъ троихъ, когда все дѣло въ томъ, чтобы жить всѣмъ троимъ, то есть... втроемъ. Дѣло такъ ясно... Пробуютъ,—и послѣ легкой побѣды надъ нѣкоторыми укоренившимися чувствами—все устраивается прекрасно. Наступаетъ миръ, согласіе, и вмѣсто ада на необитаемомъ островѣ водворяется рай.

Далѣе—опять, какъ въ романахъ съ приключеніями,— тоска по родинѣ, печальные взгляды на необозримую даль океана, парусъ на горизонтѣ, смѣна надежды, отчаянія, опять надежды... Они на кораблѣ, они въ Европѣ.

И именно въ Англіи. Они считаютъ ее страной свободы, а скрываться они не желаютъ, такъ какъ не признаютъ въ своемъ необычномъ союзѣ ничего противообщественнаго. Оказывается однако, что именно въ Англіи, этой странѣ традицій и семейнаго романа, гдѣ развратъ терпится при условіи пуританскаго соблюденія внѣшности и рутины, но величайшая добродѣтель не спасаетъ отъ наказанія за нарушеніе этой внѣшности,— ихъ союзъ производитъ соблазнъ, начинаются сосѣдскія сплетни, общественное мнѣніе вынуждаетъ власти къ вмѣшательству, и три наши героя оказываются на скамьѣ подсудимыхъ. Судъ, публика, рѣчи прокуроровъ, защиты, судей и подсудимыхъ—все это описывалось чрезвычайно подробно. Въ послѣднемъ словѣ одинъ изъ подсудимыхъ (кажется, именно, женщина) произноситъ блестящую рѣчь, гдѣ отстаиваетъ право каждаго устраивать свою жизнь по указаніямъ своей совѣсти. Она разсказываетъ о своихъ попыткахъ устроить ее на основаніи общественнаго кодекса, о томъ, къ какимъ результатамъ чуть не привели онѣ всѣхъ троихъ; какъ ихъ выходъ спасъ отъ ненависти и убійства. Присяжные ихъ оправдываютъ, и они уѣзжаютъ въ Америку, гдѣ, среди броженія новыхъ формъ жизни, и ихъ союзъ находитъ терпимость и законное мѣсто.

Повторяю,—я не могу сказать, была ли это простая шутка, или тутъ отразилась обычная черта временъ «бури и натиска», когда подвергаются пересмотру всѣ «общепринятыя положенія»... Во всякомъ случаѣ, нѣкоторый элементъ шутки и лукаваго юмора присутствовалъ въ этомъ эпизодѣ несомнѣнно *).

---

*) По поводу передачи этой „повѣсти“ я долженъ сдѣлать существенную оговорку. Записки Шаганова я читалъ еще въ

Кромѣ этой повѣсти, въ запискахъ, о которыхъ я говорю, приводилось еще содержаніе шуточно-аллегорической комедіи, написанной Чернышевскимъ и даже разыгранной въ казематѣ. Содержаніе этой шутки, юморъ которой весь испарился уже въ первой передачѣ, я пересказывать не берусь (теперь она уже напечатана).

Якутской области въ 1881 году. Кромѣ того, я встрѣчался и лично съ Шагановымъ и съ другими бывшими товарищами Чернышевскаго по каторгѣ (Странденъ, Юрасовъ, Загибаловъ, Николай Васильевъ, полякъ Станиславъ Рыхлинскій и др.), отъ которыхъ тоже слышалъ разсказы о совмѣстной съ нимъ жизни. Настоящія мои воспоминанія написаны въ 1889 году, то есть спустя 4-5 лѣтъ по выѣздѣ изъ Якутской области. Въ недавнее время вышли самыя записки Шаганова въ изданіи Э. Пекарскаго, а также „Личныя воспоминанія“ Николаева. Въ обоихъ изданіяхъ излагаемое мною произведеніе Чернышевскаго называется не повѣстью, а драмой („Другимъ нельзя“) и по внѣшнему содержанію значительно отличается отъ моего варіанта. Въ томъ же видѣ, т. е. въ формѣ драмы оно появилось въ X томѣ собр. соч. Ч-го. Такимъ образомъ я долженъ бы измѣнить свое изложеніе соотвѣтственно съ этими точными указаніями. Но меня останавливаетъ то обстоятельство, что въ моей памяти остались очень ясно не только общая идея, но и нѣкоторыя детали „повѣсти“. Особенно отчетливо я помню указаніе на жизнь въ Англіи, на судъ и защитительную рѣчь... Эти подробности не могли очевидно попасть въ мое изложеніе случайно, какъ простыя неточности памяти. Нельзя ли допустить, что было два варіанта: Чернышевскій могъ сначала кому-нибудь *читать* ненаписанную *повѣсть*, которую затѣмъ написалъ уже въ формѣ *драмы*. Въ надеждѣ содѣйствовать разъясненію этого вопроса и отсылая интересующагося читателя къ указаннымъ печатнымъ источникамъ, я рѣшилъ все-таки оставить и свой варіантъ, отмѣчая связанныя съ нимъ сомнѣнія. В. К.

III.

Большая часть товарищей Чернышевскаго были разосланы на поселеніе ранѣе его. Онъ проводилъ ихъ добрыми пожеланіями и напутствіями, а затѣмъ и самъ былъ переведенъ на сѣверъ, въ Якутскую область, на Вилюй.

Въ городъ Вилюйскъ, расположенный въ нѣсколькихъ сотняхъ верстъ на западъ отъ Якутска, на рѣкѣ того же имени,—не высылали русскихъ политическихъ ссыльныхъ. Въ шестидесятыхъ годахъ тамъ была выстроена особая тюрьма для польскихъ «повстанцевъ». Сначала въ ней помѣстили д-ра Дворжачека, потомъ поляка Іосафата Огрызко, знаменитаго въ свое время тѣмъ, что, занимая въ Петербургѣ очень важный постъ въ министерствѣ финансовъ, онъ держалъ въ своихъ рукахъ вмѣстѣ съ тѣмъ многія нити возстанія. Въ передовицахъ «Московскихъ Вѣдомостей» много разъ имя Огрызко употреблялось, какъ нарицательное, для воплощенія «польскаго коварства». Когда по манифестамъ, слѣдовавшимъ поочередно одни за другими, очередь помилованія дошла до Огрызко, который получилъ право свободныхъ переѣздовъ по Сибири и занялъ видное мѣсто по пріисковому дѣлу,—его тюрьма осталась пустой, и туда перевели Чернышевскаго *).

Объ этомъ періодѣ его сибирской жизни извѣстно еще менѣе. «Теперь встревоженная мысль летитъ къ нему туда, на Вилюй, въ холодную могилу, гдѣ онъ томится одинъ, въ мрачномъ одиночномъ заключеніи»,—приблизительно такъ кончались записки г. Шаганова.

*) Привезли его, по словамъ г-на Богучарскаго въ кандалахъ!

Тѣ самые люди, которые опровергли привезенные мной изъ Россіи слухи насчетъ помѣшательства Чернышевскаго въ Забайкальи,—повторяли эти тревожныя опасенія, перенося ихъ на Вилюй. Жизнь его тамъ, дѣйствительно, окружена была тайной, которая такъ рѣдко возможна въ Россіи.

Однажды къ намъ въ слободу пріѣхалъ новый писарь. Скромный, отягченный многочисленнымъ семействомъ и потому вынужденный иногда на нѣкоторыя сдѣлки съ совѣстью, онъ всетаки производилъ впечатлѣніе человѣка, далеко не погрязшаго въ тинѣ глухихъ сибирскихъ угловъ. Онъ явился къ намъ, познакомился и попросилъ книжекъ, предлагая, въ свою очередь, пользоваться своими.

Въ числѣ послѣднихъ мнѣ попалась одна съ надписью: «Такому-то отъ Чернышевскаго». Теперь я не помню уже, какая это была книга. Оказалось, что писарь служилъ ранѣе въ Вилюйскѣ и былъ хорошо знакомъ съ Чернышевскимъ. Онъ разсказалъ мнѣ, что тюрьма Чернышевскаго можетъ быть названа тюрьмой только на половину. Съ нимъ вмѣстѣ жили три (кажется) жандарма; но у него была своя отдѣльная комната, и онъ могъ выходить изъ нея, когда угодно. Онъ былъ знакомъ въ городѣ съ исправникомъ, кое съ кѣмъ изъ чиновниковъ и купцовъ. Но выходилъ въ гости всетаки рѣдко и не засиживался долго. Его стѣсняло то обстоятельство, что жандармъ долженъ былъ издали слѣдить за нимъ и дожидаться, пока онъ выйдетъ, что, при рѣдкой деликатности Чернышевскаго, совершенно отравляло для него всякое удовольствіе этихъ посѣщеній. «Что его, бѣднаго, заставлять дожидаться... Нѣтъ, ужъ лучше прощайте»,—говорилъ онъ и уходилъ въ свою комнату-тюрьму.

Разъ въ мѣсяцъ небольшой городокъ, похожій скорѣе на среднюю нашу деревню, оглашался звономъ почтоваго колокольчика; приходила почта, привозившая Чернышевскому письма, газеты и книги. Онъ тотчасъ же разносилъ книги по городу, приноровляясь ко вкусамъ читателей. Когда его спрашивали, отчего онъ такъ мало оставляетъ себѣ, онъ лукаво улыбался и говорилъ:

— А вы не поняли: разсчетъ! Вѣдь я обжора: накинусь, сразу все и поглощу. А такъ, по партіямъ, мнѣ и хватитъ на цѣлый мѣсяцъ.

Онъ очень любилъ, когда у него просили книгъ, и охотно занимался со своими тюремщиками. Мнѣ пришлось встрѣтиться на Ленѣ съ молодымъ жандармомъ, который пріятно поразилъ меня нѣкоторыми оборотами рѣчи и начитанностью. Оказалось, что онъ въ теченіе года былъ приставленъ къ Чернышевскому и говорилъ мнѣ, что охотно принялъ бы еще на годъ эту командировку, несмотря на скуку почти тюремной жизни.

Эти свѣдѣнія вновь разсѣяли мои опасенія. Было очевидно, что этотъ человѣкъ удивительно владѣетъ собой, держитъ себя въ рукахъ и не даетъ тяжелому и безжизненному отупѣнію далекаго захолустья побѣдить свой могучій умъ и здравый смыслъ, который всегда отличалъ его и прежде, служа главнымъ орудіемъ его въ борьбѣ «съ псевдоучеными авторитетами». Но сколько силы растрачено въ этомъ пустомъ пространствѣ, въ безплодной борьбѣ съ мертвымъ болотомъ! Я видѣлъ людей, которые прожили въ сибирской глуши гораздо меньше Чернышевскаго и не въ такихъ условіяхъ, и на нихъ подчасъ не оставалось человѣческаго облика. Однажды, на Оби, къ пароходу, который везъ новую партію ссыльныхъ и присталъ къ об-

рыву берега, чтобы набрать дровъ, вышли изъ ближайшихъ остяцкихъ чумовъ нѣсколько остяковъ и остячекъ, съ дѣтьми. Одинъ изъ этихъ дикарей, одѣтый, какъ и другіе, въ звѣриныя шкуры, съ лицомъ, покрытымъ цѣлымъ слоемъ жиру и дыма, увидѣвъ на баржѣ «политическихъ», заговорилъ съ ними по-русски. Оказалось, что это тоже политическій ссыльный, поселенный среди остяковъ. Одна изъ остячекъ, безсмысленно глядѣвшая на чуждыхъ людей, была его жена, а маленькіе дикари, прижимавшіеся къ ней—его дѣти. Со слезами на глазахъ онъ прощался съ незнакомыми товарищами, когда баржа тихо отчаливала отъ кручи, чтобы спуститься далѣе по широкой и пустынной Оби, и въ его рѣчи слышалось, что онъ уже разучивается говорить по-русски. Да, нужно было обладать могучимъ умомъ Чернышевскаго, чтобы не поддаться одиночеству долгой сибирской ссылки, безъ товарищей и друзей. Онъ не поддался и, насколько среда была къ этому способна, подымалъ ее до себя. Но и ссылка взяла у него все, что могла. Отнявъ непосредственное общеніе съ живыми фактами интеллектуальной жизни, она лишила сильный умъ его естественной пищи, необходимой для того, чтобы идти на ряду съ этой жизнью. Могучимъ усиліемъ онъ удержался на высотѣ прежнихъ способностей, но только удержался и именно на той ступени, на какой его застигла ссылка. Онъ вернулся къ намъ тѣмъ, чѣмъ былъ въ 60-хъ годахъ, а время,—къ худу ли, къ добру ли,—ушло далеко отъ этого мѣста. Правда, столкновеніе опьяняющихъ надеждъ и каземата, борьбы за передовыя реформы и допотопныхъ порядковъ Сибири,—это столкновеніе не могло не отразиться на немъ. И оно отразилось оттѣнкомъ скептическаго юмора и нѣ-

которымъ недовѣріемъ къ прежнимъ «путямъ прогресса». Но и только. Въ остальномъ,—повторяю, онъ не измѣнился.

Въ 1883 году весной опять пронесся у насъ, въ Якутской области, слухъ о смерти Чернышевскаго, но тотчасъ же этотъ слухъ замѣнился радостнымъ извѣстіемъ: Чернышевскаго возвращаютъ, Чернышевскій въ Якутскѣ.

Дѣйствительно, Чернышевскаго привезли съ Вилюя, провезли съ жандармами прямо къ губернатору, который его угостилъ завтракомъ, и тотчасъ же, не давъ переночевать и отдохнуть,—повезли въ Россію, тщательно скрывая имя и не прописывая фамиліи на станціяхъ. Чернышевскій, сначала принявшій завтракъ у губернатора, какъ любезное гостепріимство, вскорѣ убѣдился въ истинномъ значеніи этой губернаторской любезности, когда ему не позволили оставаться въ городѣ для отдыха и покупокъ. Провожатые заѣхали только на нѣсколько минутъ и то, кажется, украдкой, къ одному знакомому обывателю, который впослѣдствіи, покачивая головой, говорилъ мнѣ:

— Отличный, образованный господинъ, а, кажется, того... не совсѣмъ въ порядкѣ.

— А что?

— Да какъ же, помилуйте. Ну, хотѣлъ сначала остановиться у меня отдохнуть. Жандармы говорятъ: «нельзя, строго наказалъ губернаторъ, чтобы отнюдь не останавливаться». Вотъ стали садиться въ повозку, онъ и говоритъ жандарму: «надо бы хоть къ губернатору-то вернуться. Рубль, что ли, ему за завтракъ отдать». Помилуйте,—на что же это похоже! Неужто губернатору его рубль нуженъ!

Впослѣдствіи, когда я ѣхалъ назадъ, мнѣ разска-

зывали курьезный эпизодъ, связанный съ этимъ «секретомъ полишинеля», какимъ окружали отъѣздъ Чернышевскаго изъ Сибири, о чемъ въ то время извѣстно было всей Россіи изъ газетъ.

За нѣсколько часовъ до выѣзда Чернышевскаго, по Ленѣ изъ Якутска отправилась почта. Почтальонъ, какъ и всѣ въ городѣ, конечно, зналъ, что Чернышевскій поѣдетъ вслѣдъ за нимъ, и, желая поусердствовать,—предупреждалъ всѣхъ смотрителей. Такимъ образомъ, подъѣзжая къ станціи въ лодкѣ, небольшой отрядъ съ важнымъ пересыльнымъ заставалъ уже на берегу готовыми новую лодку, лошадей для лямки и ямщиковъ въ парадныхъ (по возможности) костюмахъ. Это, наконецъ, обратило на себя вниманіе жандарма Машкова, расторопнаго служаки, съ которымъ и мнѣ пришлось познакомиться впослѣдствіи, имѣвшаго нѣсколько преувеличенное понятіе о своей миссіи.

— Что за чортъ,—удивился онъ.—Откуда вы знаете, что мы будемъ?

— Отъ почтальона такого-то. Проѣхалъ съ почтой и говоритъ: готовьтесь, Чернышевскаго везутъ.

— А, вотъ что! Онъ не обязанъ даже и знать-то, кого мы веземъ.

Машковъ усмотрѣлъ въ усердіи бѣдняги-почтальона разоблаченіе государственной тайны. Это, конечно, не удивительно. Гораздо удивительнѣе то, что усердный почтальонъ потерялъ мѣсто за то лишь, что зналъ весь городъ, и оказалъ жандармамъ дѣйствительную услугу, такъ какъ по всей Ленѣ ихъ ждали на берегу готовыя лодки, лошади и ямщики.

IV.

Теперь, минуя то, что извѣстно изъ газетъ, я прямо перейду къ описанію личнаго свиданія моего съ Чернышевскимъ.

17 августа 1889 года, часовъ около 6 вечера, я позвонилъ у дверей деревяннаго флигеля во дворѣ, противъ общественнаго сада, въ Саратовѣ. Въ этомъ домикѣ жилъ Чернышевскій.

Въ Саратовѣ мнѣ разсказывали, что онъ и здѣсь, какъ въ Астрахани, живетъ отшельникомъ, ни съ кѣмъ не видится и доступъ къ нему очень труденъ, почти невозможенъ. Говорили даже, будто на дверяхъ вывѣшено объявленіе: «никого не принимаютъ».

Объявленія, конечно, не было. Что же касается трудности доступа, то я это испыталъ на себѣ, хотя имѣлъ полное основаніе разсчитывать, что буду принятъ. Съ Николаемъ Гавриловичемъ заочно я давно уже былъ знакомъ черезъ брата, въ послѣдній же годъ мы съ нимъ немного переписывались. Онъ звалъ меня повидаться и, что еще важнѣе въ данномъ отношеніи,—такое же приглашеніе получилъ я отъ Ольги Сократовны, его жены. Года два передъ тѣмъ я писалъ брату, когда онъ жилъ въ Астрахани, что лѣтомъ очень бы хотѣлъ пріѣхать туда и познакомиться съ Николаемъ Гавриловичемъ, но тогда послѣдній отвѣтилъ:

— Нѣтъ, ужъ это не надо. Мы съ В. Г., какъ два гнилыхъ яблока. Положи вмѣстѣ—хуже загніютъ. Намекъ, очевидно, на то, что у насъ обоихъ репутація значительно въ глазахъ начальства попорчена.

Но въ послѣдніе годы этотъ строгій режимъ самъ Чернышевскій значительно ослабилъ (я думаю,—у не-

го и тутъ, какъ съ чтеніемъ въ Вилюйскѣ, была извѣстная система),—но Ольга Сократовна продолжала держаться его до конца. Такимъ образомъ, какъ я узналъ впослѣдствіи, въ отсутствіе Ольги Сократовны Чернышевскій иногда принималъ кого попало, и къ нему проникали совершенно случайные посѣтители. Въ другое время—не принимали никого, кромѣ тѣхъ, кто зналъ секретъ, открытый при свиданіи и мнѣ. Нужно было, не звоня у параднаго входа, обойти кругомъ и войти черезъ кухню.

Я не зналъ секрета, и ко мнѣ черезъ нѣсколько минутъ вышла кухарка. Не отворяя вполнѣ двери, она оглядѣла меня, какъ будто вспоминая, не видѣла ли меня прежде, потомъ загородила входъ и, улыбаясь мнѣ въ лицо, сказала, что Николая Гавриловича нѣтъ дома.

— А барыня?

— Уѣхали въ гости.

Мнѣ казалось, что баринъ дома, и что кухарка именно этому и смѣется. Но дѣлать было нечего. Я взялъ визитную карточку, написалъ, что зайду еще завтра, и отдалъ кухаркѣ, не обозначивъ своего адреса.

Утромъ, вмѣстѣ съ женой, мы ушли изъ номера «Татарской гостиницы», гдѣ остановились, въ гостиный дворъ, за покупками. Вернувшись около половины десятаго домой, мы получили отъ номерного записку на клочкѣ бумаги. На ней было написано характернымъ крупнымъ почеркомъ Чернышевскаго: «Приходилъ. Буду между 10-ю и четвертью одиннадцатаго. Н. Чернышевскій».

Дѣйствительно, мы только что усѣлись за самоваръ, какъ въ назначенный срокъ скрипнула дверь, и кто-то, не видный изъ-за перегородки, заговорилъ:

— А-а, дома. Ну, вотъ и отлично, вотъ и пришелъ. А, вотъ вы какой, Владиміръ Галактіоновичъ... Ну, каково поживаете, каково поживаете?... Ну, очень радъ.

Къ концу этой рѣчи Чернышевскій былъ уже около стола, протягивая мнѣ руку, точно мы съ нимъ старые знакомые и видѣлись лишь нѣсколько дней назадъ.

— А это кто у васъ? Жена, Авдотья Семеновна? Ну, и отлично, ну, и отлично, я очень радъ, голубушка, очень радъ. Ну, вотъ и пришелъ.

Я видѣлъ портреты Чернышевскаго. Одинъ изъ нихъ былъ снятъ въ Астрахани, кажется за годъ до отъѣзда въ Саратовъ. На немъ Чернышевскій совсѣмъ не похожъ на того, нѣсколько мечтательнаго, молодого человѣка съ сильно выдавшимися скулами и рѣзко суженной нижней частью лица, съ почти прямымъ носомъ и очень тонкими губами, изображеннаго на портретѣ, который мы всѣ знали въ 70-хъ годахъ. Но теперь я по первому взгляду тоже не узналъ бы Чернышевскаго. Послѣдній его портретъ, находящійся въ обращеніи, изображаетъ мужественнаго человѣка, съ крупными чертами лица, очень мало напоминающими литератора. Густые длинные волосы по-русски, какъ у Гоголя, обрамляютъ это лицо и свѣшиваются на лобъ. Выраженіе серьезное, и въ немъ совсѣмъ не замѣтно оттѣнка добродушной улыбки и отчасти стариковскаго чудачества, которое оживляло лицо вошедшаго къ намъ человѣка.

Голосъ, который мы услышали еще изъ-за перегородки, былъ старческій, слегка приглушенный, но фигура сначала показалась мнѣ совсѣмъ молодой. Эту иллюзію производили въ особенности его каштановые волосы, длинные, кудрявившіеся внизу, безъ малѣйшихъ признаковъ сѣдины.

Но когда я взглянулъ ему въ лицо,—у меня какъ-то сжалось сердце: такимъ это лицо показалось мнѣ изстрадавшимся и изможденнымъ подъ этой прекрасной молодой шевелюрой. Въ сущности, онъ былъ похожъ на портретъ, только черты его, мужественныя на карточкѣ, были въ дѣйствительности мельче, миніатюрнѣе,— по нимъ прошло много морщинъ, и цвѣтъ этого лица былъ почти землистый.

Это желтая лихорадка, захваченная въ Астрахани, уже дѣлала свое быстрое, губительное дѣло.

Поляки, съ которыми я встрѣчался и жилъ въ Якутской области, сдѣлали интересное наблюденіе. Одинъ изъ нихъ разсказывалъ мнѣ, что почти всѣ, возвращавшіеся по манифестамъ прямо на родину, послѣ того, какъ много лѣтъ прожили въ холодномъ якутскомъ климатѣ,— умирали неожиданно быстро. Поэтому, кто могъ,—старался смягчить переходъ, останавливаясь на годъ, на два или на три въ южныхъ областяхъ Сибири или въ сѣверовосточныхъ Европейской Россіи.

Вѣрно это наблюденіе, или эти смерти—простыя случайности, но только на Чернышевскомъ оно подтвердилось. Изъ холодовъ Якутска Чернышевскій пріѣхалъ въ знойную Астрахань здоровымъ. Мой братъ видѣлъ его тамъ такимъ, каковъ онъ на портретѣ. Изъ Астрахани онъ переѣхалъ въ Саратовъ уже такимъ, какимъ мы его увидали, съ землистымъ цвѣтомъ лица, съ жестокимъ недугомъ въ крови, который велъ его уже къ могилѣ.

Это чувство внезапнаго и какого-то остраго сожалѣнія возвращалось ко мнѣ нѣсколько разъ въ теченіе разговора, который завязался у насъ какъ-то сразу, точно мы были съ Н. Г. родные, свидѣвшіеся послѣ долгой разлуки.

Онъ говорилъ оживленно и даже весело, онъ всегда отлично владѣлъ собою, и если страдалъ,—а могъ ли онъ не страдать очень жестоко,—то всегда страдалъ гордо, одинъ, ни съ кѣмъ не дѣлясь своей горечью.

По истеченіи нѣкотораго времени, среди разговоровъ, онъ взялъ руку А. С. и, глядя на нее, сказалъ:

— Ну, вотъ, очень радъ, милая вы моя. Это отлично, право. Это очень хорошо. Я очень радъ, что узналъ васъ.—И неожиданно поцѣловалъ у нея руку. Она также неожиданно наклонилась и отвѣтила поцѣлуемъ въ лобъ, но онъ отстранился, какъ будто испугавшись этого внезапнаго изліянія.

— Нѣтъ, не надо. Сожалѣніе... не надо этого. Я, вѣдь, знаете, какъ поцѣловалъ у васъ руку—изъ галантности. А-а, а вы не знали: я вѣдь галантнѣйшій кавалеръ.

И онъ съ шутливой манерностью поднесъ вторично ея руку къ губамъ.

— Да-съ. И вотъ онъ—тоже галантнѣйшій кавалеръ, да еще какой. Утонченнѣйшая вѣжливость! Пришелъ вчера, не засталъ и оставилъ карточку, а адреса на карточкѣ не написалъ. Понимаю, понимаю,—не объясняйте. Я отлично понимаю: значитъ, не трудитесь, Николай Гавриловичъ, отдавать визитъ, долгомъ сочту явиться вторично. Деликатность!.. А я изъ-за этой деликатности сегодня, высуня языкъ, весь городъ обѣгалъ, все разыскивалъ. На пристаняхъ былъ, въ полиціи былъ, наконецъ, догадался купить газету. Онѣ тутъ отмѣчаютъ всѣхъ пріѣзжихъ, останавливающихся въ гостиницахъ; вотъ и нашелъ.

Уже въ это первое свиданіе мнѣ вспомнился тотъ разсказъ, который я привелъ въ началѣ моего очерка,—о полякѣ, вышедшемъ изъ-подъ земли,—и впечатлѣніе

опредѣлилось. «Тотъ самый, тотъ самый», думалось съ грустью. Какая это, въ сущности, страшная трагедія остаться тѣмъ же, когда жизнь, вся жизнь такъ измѣнилась. Мы слышимъ часто, что тотъ или другой человѣкъ «остался тѣмъ же хорошимъ, честнымъ и съ тѣми же убѣжденіями, какимъ мы его знали двадцать лѣтъ назадъ». Но это нужно понимать условно. Это значитъ только, что человѣкъ остался въ томъ же отношеніи къ разнымъ сторонамъ жизни. Если вся жизнь передвинулась куда бы то ни было, и мы съ нею, и съ нею же нашъ знакомый,—то ясно, что мы не замѣтили никакой перемѣны въ положеніи. Но Чернышевскаго наша жизнь даже не задѣла. Она вся прошла вдали отъ него, промчалась мимо, не увлекая его за собой, не оставляя на его душѣ тѣхъ чертъ и рубцовъ, которые рѣка оставляетъ хотя бы на неподвижномъ берегу и которые свидѣтельствуютъ о столкновеніяхъ и борьбѣ.

— Публицистика!.. — сказалъ однажды Чернышевскій на вопросъ моего брата, отчего онъ опять не возьмется за нее. — Какъ вы хотите, чтобы я занялся публицистикой. Вотъ у васъ теперь на очереди вопросъ о нападеніи на земство, на новые суды... Что я напишу объ нихъ: во всю мою жизнь я не былъ ни разу въ засѣданіи гласнаго суда, ни разу въ земскомъ собраніи.

Ни разу! Конечно: вѣдь его увезли до открытія новыхъ учрежденій, а привезли обратно, когда ихъ собирались уничтожить. И эта судьба постигла человѣка, всѣ помыслы сердца котораго, всѣ стремленія, вся жизнь—были жизнью, помыслами, стремленіями русскаго писателя, и ничѣмъ болѣе. У него всѣ эти годы не было ничего, кромѣ литературы: ни семья, ни профессія—

ничто не смягчало для него горечи ссылки, не могло смягчить и горечи возвращенія. Въ Сибири онъ стоялъ, какъ старый камень вдали отъ берега измѣнившей русло рѣки. Она катится гдѣ-то далеко, гдѣ-то шумятъ ея живыя волны,—но онѣ уже не обмываютъ его, одинокаго, печальнаго.

Его разговоръ обнаруживалъ прежній умъ, прежнюю діалектику, прежнее остроуміе; но матеріалъ, надъ которымъ онъ работалъ теперь, уже не поддавался его пріемамъ. Онъ остался по-прежнему крайнимъ раціоналистомъ по пріемамъ мысли, экономистомъ по ея основаніямъ.

Позволяя себѣ вторгнуться въ чужіе предѣлы, — я попробую очертить главныя основанія прежняго умственнаго склада Чернышевскаго и его сподвижниковъ. Вѣра въ силу устроительнаго разума, по Конту. Вся исторія—есть не что иное, какъ смѣна разныхъ силлогизмовъ, смѣна, происходящая по схемѣ Гегеля. «Докажите мнѣ, что это не такъ, что положеніе, антитеза и синтезъ Гегеля не имѣютъ мѣста въ исторіи,—и я уступлю вамъ по всѣмъ пунктамъ нашей полемики», писалъ онъ, помнится, Вернадскому. Далѣе: главный матеріалъ, надъ которымъ оперируетъ разумъ, творящій соціальныя формы,—эгоистическіе и прежде всего матеріальные интересы. Сдѣлать подсчетъ этихъ интересовъ, поставить наибольшее благо наибольшаго числа людей въ качествѣ цѣли, показать эту таблицу съ ея противоположными итогами громаднымъ массамъ, которыя теперь, по неумѣнію разсчитать, допускаютъ существованіе неестественной соціальной ариѳметики,—остальное уже можно легко предсказать и предвидѣть.

Таковы были, по-моему, взгляды, такова, по-моему, была вѣра.

И вотъ—казематы Александровска, Нерчинска, Акатуя, которые не могли, конечно, разбить основныхъ взглядовъ,—очень удачно справлялись съ вѣрой, обломавъ ей крылья и ощипавъ перья. Основные философскіе взгляды остались, но вѣра въ непосредственное творческое дѣйствіе раціональныхъ идей утратилась. Для насъ, оставшихся среди жизни, этотъ процессъ совершился посредствомъ вторженія, постепеннаго и незамѣтнаго, новыхъ элементовъ міровоззрѣнія. Вмѣстѣ съ народнической литературой наше поколѣніе изучало народъ, которому приходилось показывать соціальную ариѳметику; оно изучало его также практически, цѣлымъ опытомъ народническо-пропагандистскаго движенія. И мы были поражены сложностью, противорѣчіями, неожиданностями, которыя при этомъ встрѣтились. Но эти разочарованія, причиняемыя столкновеніями съ живою жизнью, имѣютъ особое свойство: ихъ и исцѣляетъ сама жизнь. Противорѣчіе, неожиданность разрушаетъ прежній взглядъ, но тотчасъ же оно захватываетъ вниманіе, и незамѣтно зарождается въ душѣ возможность новыхъ воззрѣній. Вся литературная біографія Успенскаго, все, за что мы его такъ любимъ, весь захватывающій интересъ его дѣятельности, художественной и публицистической, объясняется этой исторіей интеллигентной чуткой души, натыкающейся, въ поискахъ правды и жизненной гармоніи, на противорѣчія и диссонансы и всетаки не теряющей вѣры.

Переставъ быть «раціоналистическими экономистами», мы тоже не остановились на мѣстѣ. Вмѣсто схемъ чисто экономическихъ, литературное направленіе, главнымъ представителемъ котораго является Н. К. Михайловскій, раскрыло передъ нами цѣлую перспективу законовъ и параллелей біологическаго характера, а игрѣ экономи-

ческихъ интересовъ отводилось подчиненное мѣсто. Все это лишало прежнюю постановку вопросовъ ея прозрачной ясности, усложняло ихъ, запутывало, но всѣ мы чувствовали, что намъ необходимо войти въ этотъ сложный лабиринтъ, и при этомъ мы прощали изслѣдователямъ отступленія, ошибки, противорѣчія.

Чернышевскій остался при прежнихъ взглядахъ; отъ художественнаго произведенія, какъ отъ критической или публицистической статьи, онъ требовалъ яснаго, простого, непосредственнаго вывода, который покрывалъ бы все содержаніе. Вотъ примѣръ, иллюстрирующій его отношеніе къ Гл. Успенскому.

— Ну, вотъ вамъ разсказъ: живетъ мужикъ, въ нуждѣ да въ работѣ, какъ конь ломовой. Вдругъ господа помогаютъ, или тамъ... урожай. Разбогатѣлъ на время, отдыхаетъ. Полѣзли въ голову мысли во время отдыха, сталъ пьянствовать, бить бабу, чуть не погибъ. Выводъ очевиденъ: не нужно мужику жить богаче и имѣть отдыхъ, чтобы не избаловался.

Я вспомнилъ дѣйствительно два разсказа Глѣба Ивановича приблизительно такого содержанія. Одинъ слѣдовалъ вскорѣ послѣ радостной картины урожая, гдѣ Глѣбъ Ивановичъ описалъ, какъ понемногу «выпрямляется» мужицкая душа отъ благодати урожая, и въ ней исчезаетъ злоба и звѣрство. Но вотъ, черезъ нѣкоторое время, онъ видитъ фактъ, послужившій поводомъ къ разсказу «Взбрело въ башку», и, не заботясь о полной стройности всѣхъ выводовъ изъ всѣхъ своихъ разсказовъ,—взволнованный и разстроенный до глубины души (я видѣлъ его, когда онъ собирался писать этотъ разсказъ), кинулъ намъ этотъ живой фактъ, такъ сказать, еще теплый, во всей его правдѣ и со всѣми заключенными въ немъ противорѣчіями. Мы,

сами давно уже бьющіеся среди сложности и противорѣчій жизни, ускользающей отъ нашего «устроенія», любимъ и цѣнимъ въ писателѣ эту чуткую нервность и тонкую правдивую воспріимчивость къ такимъ фактамъ.

Чернышевскій, у котораго жизнь тоже утянула, какъ и у насъ, много прежнихъ надеждъ, не хотѣлъ всетаки, да и не могъ считаться съ этой сложностью и требовалъ по прежнему ясныхъ, прямыхъ, непосредственныхъ выводовъ.

О всякомъ писателѣ онъ спрашивалъ прежде всего: умный онъ человѣкъ или нѣтъ? И далеко не за всѣми извѣстностями признавалъ это качество. За Михайловскимъ, напримѣръ, признавалъ, хотя совершенно отвергалъ его біолого-соціологическія параллели.

Съ особенной рѣзкостью говорилъ онъ о Толстомъ, и это понятно, потому что оба они имѣютъ общую точку соприкосновенія въ раціонализмѣ, хотя въ выводахъ стоятъ на противоположныхъ полюсахъ.

— А Толстымъ увлекаетесь?—спросилъ онъ, лукаво смотря на мою жену. — Превосходный писатель, не правда ли?

Жена сказала свое мнѣніе и спросила объ его собственномъ отношеніи къ послѣднимъ для того времени произведеніямъ Толстого.

Чернышевскій вынулъ платокъ и высморкался.

— Что, хорошо? — спросилъ онъ, къ великому нашему удивленію.—Хорошо я сморкаюсь? Такъ себѣ, не правда ли. Если бы у васъ кто спросилъ: хорошо ли Чернышевскій сморкается, вы бы отвѣтили: безъ всякихъ манеръ, да и гдѣ же какому-то бурсаку имѣть хорошія манеры. А что, если бы я вдругъ представилъ неопровержимыя доказательства, что я не бурсакъ, а герцогъ, и получилъ самое настоящее герцогское воспи-

таніе. Вотъ тогда бы вы тотчасъ же подумали: А—а, нѣтъ-съ, это онъ не плохо высморкался,—это и есть настоящая, самая рѣдкостная герцогская манера... Правда вѣдь? А?

— Пожалуй.

— Ну, вотъ то же и съ Толстымъ. Если бы другой написалъ сказку объ Иванѣ-дуракѣ,—ни въ одной редакціи, пожалуй, и не напечатали-бы. А вотъ, подпишетъ графъ Толстой,—всѣ и ахаютъ. Ахъ, Толстой, великій романистъ! Не можетъ быть, чтобъ была глупость. Это только необычно и геніально! По-графски сморкается!..

V.

Вообще, къ движенію, обозначенному Толстымъ, но имѣвшему и другія родственныя развѣтвленія, онъ относился очень насмѣшливо и разсказывалъ нѣкоторые, сюда относящіеся эпизоды съ большимъ юморомъ. Я приведу одинъ изъ подобныхъ эпизодовъ, но, чтобы онъ могъ сказать все, что съ нимъ связано относительно характеристики Чернышевскаго, я долженъ прибавить еще нѣсколько словъ.

Въ квартирѣ Чернышевскаго, во второе мое свиданіе съ нимъ, я встрѣтилъ, кромѣ его жены и секретаря, еще молодую дѣвушку, племянницу Чернышевскаго, знакомую моему брату. Она очень сердилась на послѣдняго за то, что онъ не отвѣтилъ на ея письмо, и часто возвращалась къ этому вопросу.

— Ахъ, милая вы моя,—полушутя, полусерьезно сказалъ ей Чернышевскій со своей обычной добродушно насмѣшливой манерой. — Развѣ кто нибудь изъ серьезныхъ людей отвѣчаетъ на письма. Никогда! Да и не нужно. Положительно не нужно! Вотъ я вамъ случай

разскажу изъ своей практики: какъ-то разъ Ольги Сократовы не было дома, хожу себѣ по комнатамъ, вдругъ звонокъ. Отворяю дверь, — какой-то незнакомый господинъ.—Что угодно?

— Николая Гавриловича Чернышевскаго угодно.

— А это я самый.

— Вы—Николай Гавриловичъ?

— Да, я Николай Гавриловичъ.

Онъ стоитъ, смотритъ на меня, и я на него смотрю. Потомъ вижу, что вѣдь такъ нельзя, позвалъ въ гостиную, посадилъ. Сѣлъ, облокотился на столъ, опять смотритъ въ лицо.

— Такъ вотъ это вы—Николай Гавриловичъ Чернышевскій.

— Да, говорю, я Николай Гавриловичъ Чернышевскій.

— А я, говоритъ, пріѣхалъ на пароходѣ, а поѣздъ уходитъ черезъ пять часовъ. Я и думаю: надо зайти къ Николаю Гавриловичу Чернышевскому.

— А-а, это, конечно, уважительная причина. Однако, вотъ и моя жена пришла. Позвольте васъ представить, какъ васъ зовутъ?

— А это, говоритъ, вовсе и не нужно.

— «Вотъ оно что,—подумалъ я себѣ:—какой-нибудь важный конспираторъ». — Увелъ его къ себѣ въ кабинетъ, посадилъ и говорю:—если при другихъ вамъ нельзя высказаться, то, можетъ, мнѣ одному скажете?

— Ахъ, нѣтъ, говоритъ, это не то вовсе. Моя фамилія такая-то, докторъ X. Ѣду теперь въ Петербургъ по своимъ дѣламъ.

И опять сидитъ, смотритъ.

— Такъ вотъ... Вы—Николай Гавриловичъ Чернышевскій!

— Я Николай Гавриловичъ Чернышевскій. Однако, знаете, до поѣзда всетаки еще долго. Давайте о чемъ-нибудь говорить.

— Ну, хорошо, давайте.

— О чемъ-же?

— О чемъ хотите, Николай Гавриловичъ Чернышевскій, о томъ и говорите.

Посмотрѣлъ я на него и думаю: давай попробую съ нимъ о Толстомъ заговорить. Взялъ да и обругалъ Толстого.

Смотрю,—ничего, никакого впечатлѣнія.

— Послушайте, говорю,—а можетъ быть вамъ это непріятно, что я тутъ о такомъ великомъ человѣкѣ такъ отзываюсь.

— Нѣтъ, говоритъ, ничего. Продолжайте. Нѣсколько мѣсяцевъ назадъ, можетъ быть, я и очень бы огорчился. А теперь ничего, теперь я уже свою вѣру выдумалъ, собственную.

— А, вотъ это интересно. Разскажите, какую вы это выдумали вѣру. Можетъ и хорошая вѣра.

— Конечно, хорошая.—Началъ разсказывать что-то, я слушаю. Должно быть, ужъ очень что-то умное,—ничего нельзя понять.

— Постойте, говоритъ. Я вамъ письмо съ дороги пришлю. Адресъ тоже пришлю, и вы мнѣ непремѣнно отвѣтьте. А теперь пойдемъ лучше пройдемъ по городу да и на пароходъ.

Мнѣ тоже показалось, что это самое лучшее. Вѣра у него какая-то очень скучная, да и не графъ онъ ни въ какомъ смыслѣ... Не интересно. Проводилъ я его на пароходъ, пароходъ отчаливаетъ, а онъ все кричитъ: напишу, отвѣчайте непремѣнно, что думаете.

Отлично. Онъ уѣхалъ, а я забылъ. Только черезъ

нѣкоторое время опять я одинъ, опять звонокъ. Отворяю. Опять незнакомецъ, на этотъ разъ молодой.

— Вы—Николай Гавриловичъ Чернышевскій?

— Я Николай Гавриловичъ Чернышевскій.

— Я отъ доктора Х.—А-а, думаю себѣ, пророкъ Андрей Первозванный. Присланъ меня въ новую вѣру обращать.

— Милости просимъ, говорю.

— Письмо къ вамъ, длинное. Проситъ отвѣта. Я съ нимъ увижусь.

— А вы кто?

Оказался ветеринаръ и человѣкъ отличный. Проѣздомъ,—устраивалъ свои дѣла, а теперь ѣдетъ въ университетъ. Планы все простые, хорошіе, какъ у всякаго порядочнаго молодого человѣка. Учиться собирается, ну, и прочее... Все хорошо.

Думаю: нѣтъ, должно быть, не этой вѣры. И дѣйствительно,—съ докторомъ онъ встрѣтился совсѣмъ случайно.

— Ну, отлично, говорю. Вы хотите отвѣта?

— Просилъ Х. непремѣнно привезти. Ужъ вы, пожалуйста.

— Ахъ ты Господи! А содержаніе письма вамъ извѣстно?

— Нѣтъ, не знаю.

Ну, думаю, такъ, можетъ, еще освободитъ.—Давайте-ка, прочтемъ вмѣстѣ.—Усадилъ его въ кабинетѣ, вскрылъ письмо, читаю. Прочиталъ нѣсколько,—все такъ же, какъ въ изустной рѣчи: или уже слишкомъ умно, или просто глупо, ничего не понимаю. Посмотрѣлъ на молодого человѣка. У него глаза удивленные...

— Ну, что, говорю, читать далѣе, или о чемъ другомъ поговоримъ?

— О другомъ, говоритъ, лучше.

— А отвѣчать надо?

— Помилуйте, говоритъ, что тутъ отвѣчать. Невозможно и отвѣтить ничего толкомъ.—Такъ вотъ, видите,— улыбаясь, закончилъ онъ разсказъ, обращаясь къ племянницѣ.—О важныхъ дѣлахъ, о новой вѣрѣ и то не отвѣчаютъ, а вы тутъ о своихъ пустякахъ пишете и требуете отвѣта... Предразсудокъ!..

Дѣвушка, смѣясь, вышла изъ комнаты... Тогда, оглянувшись конспиративно на дверь, Чернышевскій наклонился ко мнѣ и сказалъ:

— Если передадите брату ея слова, скажите, пусть не сердится. Видите, она дѣвушка хорошая, честная, сирота. Жизнь вся прошла сѣро, сестеръ и братьевъ выводила въ люди, сама не видѣла ничего, никакой радости. Ну, а въ тотъ годъ, когда встрѣтилась съ вашимъ братомъ—свалила съ себя главное-то бремя, поѣхала по Волгѣ, стала жить на свой счетъ. Все это понимаете, и радостно ей, и кажется значительно очень. Свобода, встрѣча съ хорошими интеллигентными людьми послѣ глухого угла. Вотъ она и не можетъ себѣ представить, что эта случайная встрѣча важна и значительна только для нея одной, а не для другихъ, и вотъ почему ее такъ волнуетъ неполученіе отвѣта отъ случайно встрѣченнаго тогда человѣка.

Эта внимательность къ окружающимъ, это тонкое пониманіе чужого настроенія добавляетъ, по моему, очень важную черту къ нравственному облику самого Чернышевскаго.

Позднимъ вечеромъ Чернышевскій проводилъ меня до воротъ, мы обнялись на прощаніе, и я не подозрѣвалъ, что обнимаю его въ послѣдній разъ...

Теперь еще нѣсколько словъ объ его отношеніи къ своему прошлому.

Мой братъ передавалъ мнѣ одну импровизацію Чернышевскаго. Эту легенду-аллегорію онъ слышалъ, къ сожалѣнію, изъ вторыхъ уже рукъ: ему разсказывала племянница Чернышевскаго, подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ очень яркаго, живого и юмористическаго разсказа самого Николая Гавриловича. Братъ разсказывалъ ее мнѣ тогда же, но теперь мы оба возстановили въ памяти лишь нѣкоторыя черты, одинъ остовъ этой аллегоріи. Я привожу ее всетаки, такъ какъ въ ней есть характерныя черты и проглядываютъ отчасти взгляды Чернышевскаго въ послѣднее время на свою прошлую дѣятельность.

Когда-то, во время кавказской войны, Шамиль спросилъ одного прорицателя объ исходѣ своего предпріятія. Порицатель далъ отвѣтъ очень неблагопріятный. Шамиль разсердился и велѣлъ посадить пророка въ темницу, а затѣмъ приговорилъ его къ казни, въ виду того, что его предсказаніе вносило уныніе въ среду мюридовъ. Передъ казнью пророкъ попросилъ его выслушать въ послѣдній разъ и сказалъ: «въ эту ночь я видѣлъ вѣщій сонъ: есть гдѣ-то на свѣтѣ домъ, въ этомъ домѣ ученый человѣкъ сидитъ много лѣтъ надъ рукописями и книгами. Онъ придумаетъ вскорѣ такую машину, отъ которой перевернется не только Кавказъ и Константинополь, но и вся Европа. А будетъ это тогда, когда бараны станутъ кричать козлами».

Шамиль задумался и хотѣлъ помиловать пророка, но мюриды возмутились еще больше: не ясно ли, что пророкъ сѣетъ въ рядахъ правовѣрныхъ напрасное уныніе,—гдѣ же видано, чтобы бараны кричали козлами?

И пророка казнили. Но когда стали готовиться, чтобы отпраздновать тризну по казненномъ, то одинъ изъ барановъ, назначенный къ закланію, вырвался изъ

рукъ черкеса и, вскочивъ на крышу Шамилевой сакли,— закричалъ три раза козломъ.

Тогда Шамиль ужаснулся и, призвавъ самаго вѣрнаго изъ своихъ адъютантовъ, далъ ему денегъ и велѣлъ ѣхать по свѣту, во что бы-то ни стало разыскать неизвѣстнаго ученаго и убить его прежде, чѣмъ онъ успѣетъ окончить свою работу.

Къ сожалѣнію, я совсѣмъ не знаю подробностей путешествія адъютанта по разнымъ странамъ. Слышавшіе этотъ разсказъ говорили, что описаніе этихъ поисковъ представляло настоящую юмористическую поэму и, безъ сомнѣнія, значительно могло-бы выяснить смыслъ аллегоріи. Теперь приходится ограничиться тѣмъ, что адъютантъ, дѣйствительно, разыскалъ ученаго и, кажется, именно въ Петербургѣ. Онъ засталъ его окруженнаго книгами, въ кабинетѣ, въ которомъ топился каминъ. Ученый сидѣлъ противъ огня и размышлялъ. Когда адъютантъ Шамиля объявилъ ему, что онъ долго его разыскивалъ, чтобы убить,—ученый отвѣтилъ, что онъ готовъ умереть, но просилъ дать немного времени, чтобы покончить свои дѣла и планы.

— Ты хочешь привести въ исполненіе то, что у тебя здѣсь написано и начерчено?—спросилъ его мюридъ.

— Нѣтъ, я хочу все это сжечь въ каминѣ, чтобы никто не вздумалъ выполнить то, надъ чѣмъ я такъ долго трудился, считая, что работаю для блага людей. Теперь я пришелъ къ заключенію, что я ошибался!..

— Вы—были этотъ ученый?—спросила Чернышевскаго одна изъ слушательницъ.

— Нѣтъ, я—тотъ баранъ, который хотѣлъ кричать козломъ,—отвѣтилъ онъ съ той добродушной ироніей, съ которой часто говорилъ о себѣ. Въ дальнѣйшіе комментаріи онъ не пускался, предоставляя, по своему обык-

новенію, слушателямъ дѣлать самимъ тѣ или другія заключенія.

Конечно, очень трудно по приведеннымъ мною обломкамъ судить о цѣломъ этой аллегоріи. Однако, на основаніи того, что я слышалъ впослѣдствіи отчасти отъ другихъ, отчасти же лично отъ Чернышевскаго, я позволяю себѣ сдѣлать нѣкоторые комментаріи. Мнѣ кажется, что Чернышевскій имѣлъ здѣсь въ виду себя (а можетъ быть, также и другихъ),—какъ теоретика и мыслителя, который вообразилъ себя практическимъ дѣятелемъ. Вѣроятно на это именно указываетъ сравненіе себя самого съ кроткимъ по природѣ бараномъ, которому вздумалось кричать по козлиному. Мнѣ доводилось слышать эту же мысль, выраженную ясно и безъ всякихъ аллегорій.

— Ахъ, Владиміръ Галактіоновичъ,—говорилъ мнѣ покойный при личномъ свиданіи, когда мы стали перебирать прошлое и заговорили о Сибири.—Знаете-ли: попалъ я, въ Акатуѣ, въ среду сосланныхъ за революціонныя дѣла... Кого только тамъ не было: поляки, мечтавшіе о возстановленіи своей Рѣчи Посполитой, итальянцы-гарибальдійцы, пріѣхавшіе помогать полякамъ, наши каракозовцы!.. И все—народъ хорошій, но все—зеленая молодежь. Одному мнѣ подъ пятьдесятъ. Оглянулся я на себя и говорю: ахъ ты, старый дуракъ, старый дуракъ, куда тебя занесло. Ну, и стыдно стало...

Правда, всѣ эти нападки на прошлое, иногда высказываемыя въ очень рѣзкой формѣ самообличенія, — не отзывались ни унылымъ разочарованіемъ, ни слабодушнымъ покаяніемъ въ прошлыхъ «грѣхахъ». Наоборотъ, послѣ такихъ выходокъ, Чернышевскій встряхивалъ своими густыми волосами, глядѣлъ исподлобья улыбающимся взглядомъ и прибавлялъ:

— А вѣдь всетаки, сказать правду: не все-же только худое было... Было кое-что и хорошее. Пожалуй, не мало было хорошаго, да, не мало.

Указаніемъ на это обстоятельство я отклоняю вмѣстѣ съ тѣмъ упрекъ въ кажущемся противорѣчіи, которое можно бы, пожалуй, усмотрѣть въ томъ, что я говорилъ выше о Чернышевскомъ, оставшемся прежнимъ Чернышевскимъ 60-хъ годовъ, — съ его насмѣшками надъ своимъ прошлымъ. Нѣтъ, онъ не смѣялся надъ прошлымъ и остался въ основныхъ своихъ взглядахъ тѣмъ же революціонеромъ въ области мысли, со всѣми прежними пріемами умственной борьбы. Онъ смѣялся только надъ своими попытками практической дѣятельности и, пожалуй,—не вѣрилъ въ близость и плодотворность общественнаго катаклизма.

Это фактъ, и, какъ таковой, я привожу его для характеристики этого крупнаго человѣка въ послѣдній періодъ его жизни.

VI.

Въ заключеніе приведу здѣсь легенду которая сложилась о Чернышевскомъ еще при его жизни въ далекой Сибири, на Ленѣ.

Чернышевскаго привезли въ Россію лѣтомъ, а я ѣхалъ тѣмъ-же путемъ осенью того же года.

Трудно представить себѣ что либо болѣе угрюмое, печальное и непривѣтное, чѣмъ приленская природа. Голыя скалы, иногда каменная стѣна на десятки верстъ и наверху, надъ вашей головой только лиственничный лѣсъ, да порой кресты якутскихъ могилъ. И такъ—почти на три тысячи верстъ. Русское населеніе Лены—это ямщики, поселенные здѣсь съ давнихъ временъ правительствомъ и живущіе у государства на жалованіи. Это своего

рода сколокъ старинныхъ «ямовъ», почтовая служба для государственныхъ цѣлей, среди дикой природы и полудикаго мѣстнаго населенія, среди горькой нужды. «Мы пеструю столбу караулимъ, говорилъ мнѣ съ горькой жалобой одинъ изъ ямщиковъ своимъ испорченнымъ полурусскимъ жаргономъ: пеструю столбу, да сѣрый камень, да темную лѣсу». Въ этой фразѣ излилась вся горькая жизнь русскаго мужика, потерявшаго совершенно смыслъ существованія. «Столбы для дому бей въ камень, паши камень и камень кушай... и слеза наша на камень этотъ падетъ»,—говорилъ другой.

Эти люди, которые, какъ всѣ люди, все ждутъ чего-то и на что то надѣются,—везли Чернышевскаго, когда его отправляли на Вилюй. Они замѣтили, что этого арестанта провожаютъ съ особеннымъ вниманіемъ, и долго въ юртахъ этихъ мужиковъ, забывающихъ родной языкъ, но сохраняющихъ виспоминанія о далекой родинѣ,—толковали о «важномъ генералѣ», попавшемъ въ опалу. Затѣмъ его провезли обратно и опять съ необычными предосторожностями.

Въ сентябрѣ 1884 года, черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ проѣзда Чернышевскаго по Ленѣ въ Россію, мнѣ пришлось провести нѣсколько часовъ на пустомъ островѣ Лены, въ ожиданіи, пока пронесется снѣговая туча. Мы съ ямщиками развели огонь, и они разсказывали о своемъ горькомъ житьишкѣ.

— Вотъ развѣ отъ Чернышевскаго не будетъ-ли намъ чего?—сказалъ одинъ изъ нихъ, задумчиво поправляя костеръ.

— Что такое? отъ какого Чернышевскаго?—удивился я.

— Ты развѣ не знаешь Чернышевскаго, Николай Гавриловича?

И онъ разсказалъ мнѣ слѣдующее:

«Чернышевскій былъ у покойнаго царя (Александра II) важный генералъ и самый первѣйшій сенаторъ. Вотъ однажды созвалъ Государь всѣхъ сенаторовъ и говоритъ: слышу я—плохо у меня въ моемъ Государствѣ: людишки больно жалуются. Что скажете, какъ сдѣлать лучше?

Ну, сенаторы-то... одинъ одно, другой другое... Извѣстно ужъ, какъ всегда заведено. А Чернышевскій молчитъ. Вотъ, когда всѣ сказали, царь говоритъ:—«Что же ты молчишь, мой сенаторъ Чернышевскій. Говори и ты».—Все хорошо, твои сенаторы говорятъ—отвѣчаетъ Чернышевскій,—и хитро, да все вишь не то. А дѣло-то, батюшка Государь, просто: посмотри на насъ: сколько на насъ золота да серебра навѣшано, а много-ли мы работаемъ? Да, пожалуй, что меньше всѣхъ! А которые у тебя въ государствѣ больше всѣхъ работаютъ,—тѣ вовсе, почитай, безъ рубахъ. И все такъ идетъ навыворотъ. А надо вотъ какъ: намъ бы поменьше маленько богатства, а работы-бы прибавить, а прочему народу убавить тягостей.

«Вотъ услышали это сенаторы и осердились. Самый изъ нихъ старшій и говоритъ:—Это, знать, послѣднія времена настаютъ, что волкъ волка съѣсть хочетъ.—Да одинъ за однимъ и ушли.

«И сидятъ за столомъ—Царь да Чернышевскій одни.

«Вотъ Царь и говоритъ: ну, братъ Чернышевскій, люблю я тебя, а дѣлать нечего, надо тебя въ дальныя мѣста сослать, потому съ тобой съ однимъ мнѣ дѣлами не управиться.

«Заплакалъ, да и отправилъ Чернышевскаго въ самое гиблое мѣсто, на Вилюй. А въ Петербургѣ осталось у Чернышевскаго 7 сыновъ и всѣ выросли, обучились и всѣ стали генералы. И вотъ, пришли они къ новому

царю и говорятъ: Вели, Государь, вернуть нашего родителя, потому его и отецъ твой любилъ. Да теперь ужъ и не одинъ онъ будетъ,—мы всѣ съ нимъ, семь генераловъ.

«Царь и вернулъ его въ Россію, теперь чай будетъ спрашивать, какъ въ Сибири, въ отдаленныхъ мѣстахъ народъ живетъ?.. Онъ и разскажетъ...

«Привезъ я его въ лодкѣ на станокъ, да какъ жандармы-то сошли на берегъ,—я поклонился въ поясъ и говорю:

— «Николай Гавриловичъ! Видѣлъ наше житьишко?

— «Видѣлъ—говоритъ.

— «Ну, видѣлъ, такъ и слава-те Господи!».

Такъ закончилъ разсказчикъ, въ полной увѣренности, что въ отвѣтѣ Чернышевскаго заключался залогъ лучшаго будущаго и для нихъ, приставленныхъ караулить «пеструю столбу да сѣрый камень».

Я разсказалъ эту легенду Чернышевскому. Онъ съ добродушной ироніей покачалъ головой и сказалъ:

— А-а. Похоже на правду, именно похоже! Умные парни эти ямщики.

„Гражданская казнь Чернышевскаго".

(По разсказу очевидца).

Въ моемъ распоряженіи есть любопытный документъ: воспоминаніе очевидца «гражданской казни» Чернышевскаго. Въ Нижнемъ-Новгородѣ нѣсколько лѣтъ назадъ умеръ врачъ А. М. Вѣнскій, «человѣкъ 60-хъ годовъ», товарищъ П. Д. Боборыкина (послѣдній вывелъ его въ одномъ изъ своихъ романовъ). Въ первую годов-

щину смерти Чернышевскаго въ Нижнемъ-Новгородѣ происходило частное собраніе, посвященное памяти Николая Гавриловича. Извѣстный земскій дѣятель А. А. Савельевъ предложилъ, между прочимъ, А. М. Вѣнскому подѣлиться своими воспоминаніями о событіи, котораго онъ былъ очевидцемъ. Въ то время Вѣнскій уже значительно «увялъ», замкнулся и велъ жизнь отшельника, ограничивъ кругъ своихъ интересовъ губернской больницей. Онъ отказался прочесть свои воспоминанія въ частномъ кружкѣ, о которомъ я говорилъ выше, но согласился дать отвѣты на точно поставленные вопросы. Просматривая свои бумаги, я нашелъ теперь истрепанный листикъ съ этими отвѣтами. На лѣвой сторонѣ стоятъ вопросы А. А. Савельева, а на правой—отвѣты Вѣнскаго. Несмотря на эту сухую форму, картина рисуется очень ярко, и я приведу ее, держась по возможности дословно текста отвѣтовъ.

Гражданская казнь Чернышевскаго происходила утромъ, въ 6 часовъ *). Назначена она была въ 5 часовъ, но произошло замедленіе. Утро было пасмурное, шелъ мелкій дождь. На Конной площади былъ поставленъ эшафотъ, какой обыкновенно ставился для экзекуцій. «Вокругъ эшафота расположились кольцомъ конные жандармы, сзади нихъ публика, одѣтая прилично (много было литературной братіи и женщинъ,—въ общемъ не менѣе 400 человѣкъ **). Позади этой публи-

*) Вѣнскій числа и даже мѣсяца не помнилъ. По другимъ источникамъ это было 19 мая 1864 г. 13 іюня Чернышевскій уже высланъ.

**) По замѣчанію другого очевидца, гораздо больше. А. М. Вѣнскій даетъ слѣдующую приблизительную схему: разстояніе публики отъ эшафота было сажень 8 или 9, а „толщина кольца“ не менѣе одной сажени“.

ки—простой народъ, фабричные и вообще рабочіе. «Помню,—говоритъ А. М. Вѣнскій,—что рабочіе расположились за заборомъ не то фабрики, не то строющагося дома, и головы ихъ высовывались изъ-за забора. Во время чтенія чиновникомъ длиннаго акта, листовъ въ 10,—публика за заборомъ выражала неодобреніе виновнику и его злокозненнымъ умысламъ. Неодобреніе касалось также его соумышленниковъ и выражалось громко. Публика, стоявшая ближе къ эшафоту, позади жандармовъ, только оборачивалась на роптавшихъ».

Наружность Чернышевскаго и его поведеніе въ критическую минуту Вѣнскій описываетъ слѣдующими чертами:

«Чернышевскій,—блондинъ, невысокаго роста, худощавый, блѣдный (по природѣ), съ небольшой клинообразной бородкой,—стоялъ на эшафотѣ безъ шапки, въ очкахъ, въ осеннемъ пальто съ бобровымъ воротникомъ. Во время чтенія акта оставался совершенно спокойнымъ; неодобренія зазаборной публики онъ, вѣроятно, не слыхалъ, такъ-же какъ, въ свою очередь, и ближайшая къ эшафоту публика не слыхала громкаго чтенія чиновника. У позорнаго столба,—къ которому подвелъ Чернышевскаго палачъ, надѣвшій ему сзади на руки кольца прикованныхъ къ столбу цѣпей,—Чернышевскій смотрѣлъ все время на публику, раза два-три снимая и протирая пальцами очки, смоченныя дождемъ *). Стояніе у позорнаго столба продолжалось около 1/4 часа,—да чтеніе столько же, если не больше **). Затѣмъ, по освобожденіи отъ цѣпей, палачъ вывелъ Чернышевскаго на средину эшафота и разломалъ надъ его головой шпагу, бросивши ея половинки въ разныя стороны.

*) Очевидно, цѣпи были для этого достаточно длинны.
**) Не происходило ли это одновременно?

Въ заключеніе Чернышевскій былъ сведенъ съ эшафота и посаженъ въ карету. Въ эту минуту изъ среды интеллигентной публики полетѣли букеты цвѣтовъ; часть ихъ попала въ карету, а большая часть мимо *). Произошло легкое движеніе публики впередъ. Лошади тронулись. Дальнѣйшихъ комментарій со стороны толпы не было слышно... Дождь пошелъ сильнѣе»...

Это было 40 лѣтъ назадъ. Народъ, только что освобожденный отъ крѣпостной зависимости, считалъ, вѣроятно, Чернышевскаго представителемъ «господъ», недовольныхъ освобожденіемъ. Какъ бы то ни было, исторія старушки, въ святой простотѣ принесшей вязанку хвороста на костеръ Гусса, повторилась и на этотъ разъ... Нѣтъ сомнѣнія, что теперь отношеніе даже и «зазаборной публики» къ акту подобнаго рода было бы много сложнѣе. Во всякомъ случаѣ картина, нарисованная безхитростнымъ и суховатымъ разсказомъ «очевидца», вѣроятно, еще не разъ остановитъ на себѣ внимательный взглядъ и художника, и историка. А схема, такъ наивно набросанная Вѣнскимъ: блѣдная фигура мыслителя на эшафотѣ и кольцо его интеллигентныхъ «соумышленниковъ» между цѣпью жандармовъ и враждебно настроеннымъ народомъ,—способна навести на многія размышленія, даже въ наше время, когда историческое значеніе такъ называемой интеллигенціи подвергается разнообразнымъ нападкамъ съ самыхъ противоположныхъ сторонъ...

Впрочемъ, не лишне также напомнить, что теперь,

*) Г. Захарьинъ-Якунинъ въ „Руси" говоритъ объ одномъ вѣнкѣ, который былъ брошенъ на эшафотъ въ то время, когда палачъ ломалъ надъ головой Ч—го шпагу. Бросила этотъ букетъ дѣвушка, которая тутъ же была арестована. Вѣнскій говоритъ, очевидно, о другомъ моментѣ.

послѣ новыхъ матеріаловъ, появившихся въ прошломъ году—судъ сената надъ Чернышевскимъ постигнутъ уже, въ свою очередь, нелицепріятнымъ приговоромъ исторіи. Это было, несомнѣнно, вопіющее неправосудіе. Отъ этого, однако, значеніе приведенной картины не измѣняется, какъ не измѣняется и значеніе Чернышевскаго въ освободительномъ движеніи русскаго общества.

Памяти Антона Павловича Чехова.

Памяти Антона Павловича Чехова.

2 іюля, въ Баденъ-Вейлерѣ, въ Шварцвальдѣ, умеръ Антонъ Павловичъ Чеховъ. Онъ жилъ здѣсь три недѣли. Незадолго до смерти одному изъ друзей въ редакціи «Русскихъ Вѣдомостей» онъ писалъ, что чувствуетъ себя очень хорошо, поправляется, и «здоровье входитъ въ него пудами». На этомъ основаніи газета напечатала замѣтку, которая сообщала о здоровьѣ Чехова самыя успокоительныя извѣстія. Но это было лишь обманчивое самочувствіе, нерѣдкое у чахоточныхъ. Вскорѣ процессъ въ легкихъ обострился, питаніе начало падать, вѣсъ тѣла быстро понижался. Во вторникъ (29 іюня) безъ видимой причины появилось ослабленіе дѣятельности сердца. Въ часъ ночи на 2 іюля больной проснулся отъ сильнаго удушья, а къ тремъ часамъ умеръ «безъ агоніи», на рукахъ у жены.

Такъ быстро и неожиданно закончилась эта жизнь. Чеховъ умеръ только 44 лѣтъ отъ роду, въ расцвѣтѣ таланта... Несомнѣнно, что смерть эта отозвалась въ тысячахъ сердецъ щемящей грустью, да и жизнь его въ послѣдніе годы была тоже обвѣяна какою-то неутолимою печалью, къ которой, силою огромнаго «заразительнаго» таланта, онъ сумѣлъ пріобщить своихъ читателей... А между тѣмъ этотъ человѣкъ начиналъ свою

литературную карьеру такимъ же заразительнымъ, сверкающимъ и яркимъ весельемъ и смѣхомъ!..

Какая парадоксальная литературная судьба!..

Съ Чеховымъ я познакомился въ 1886 или въ началѣ 1887 г. (теперь точно не помню). Въ то время онъ успѣлъ издать два сборника своихъ разсказовъ. Первый, который я видѣлъ въ одно изъ своихъ посѣщеній на столѣ у Чехова, назывался «Сказки Мельпомены» и, кажется, составлялъ изданіе какого-то юмористическаго журнала. Самая внѣшность его носила отпечатокъ, присущій нашей юмористической прессѣ. На обложкѣ стояло: «А. Чехонте» и былъ изображенъ мольбертъ, а передъ нимъ — карикатурная фигура длинноволосаго художника. Если память мнѣ не измѣняетъ, виньетку эту рисовалъ братъ Антона Павловича, художникъ, умершій въ самомъ концѣ 80-хъ или началѣ 90-хъ годовъ, человѣкъ, какъ говорили, очень талантливый, но неудачникъ... Эту первую книжку Чехова мало замѣтили въ публикѣ, и теперь рѣдко кто ее, вѣроятно, помнитъ. Но нѣкоторые (кажется, не всѣ) разсказы изъ нея вошли въ послѣдующія изданія.

Затѣмъ, помнится, въ началѣ 1887 года появилась уже болѣе объемистая книга «Пестрыхъ разсказовъ», печатавшихся въ «Будильникѣ», «Стрекозѣ», «Осколкахъ» и на этотъ разъ подписанныхъ уже фамиліей А. П. Чехова. Эта книга была замѣчена сразу широкой читающей публикой. О ней начали писать и говорить. Писали и говорили разно, но много, и въ общемъ это былъ большой успѣхъ. Въ газетныхъ некрологахъ и замѣткахъ упоминается о томъ, будто А. С. Суворинъ первый разсмотрѣлъ среди вороховъ нашего тусклаго россійскаго «юмора» неподдѣльныя жемчужины Чеховскаго таланта. Это, кажется, невѣрно. Первый обратилъ

на нихъ вниманіе Д. В. Григоровичъ. Какъ кажется, онъ оцѣнилъ эти самородныя блестки еще тогда, когда онѣ были разбросаны на страницахъ юмористическихъ журналовъ или, быть можетъ, по первому сборнику «А. Чехонте». Кажется, Григоровичъ же устроилъ изданіе «Пестрыхъ разсказовъ», и едва-ли не отъ него узналъ о Чеховѣ Суворинъ, который и пригласилъ его работать въ «Новомъ Времени». Въ первыя же свиданія мои съ Чеховымъ, Антонъ Павловичъ показывалъ мнѣ письма Григоровича. Одно изъ нихъ было написано изъ-за границы. Григоровичъ писалъ о тоскѣ, которую онъ испытываетъ въ своемъ курортѣ, о болѣзни, о предчувствіи близкой смерти. И я живо помню, какъ Чеховъ, взявъ у меня изъ рукъ прочитанное письмо, сказалъ:

— Да, вотъ вамъ и извѣстность, и карьера, и большіе гонорары...

Эта пессимистичекая нотка показалась мнѣ тогда случайной въ устахъ веселаго автора веселыхъ разсказовъ, передъ которымъ жизнь только еще открывала свои заманчивыя дали... Но впослѣдствіи я часто вспоминалъ и эти слова, и выраженіе, съ которымъ Чеховъ произнесъ ихъ, и они уже не казались мнѣ случайными...

Послѣ выхода въ свѣтъ «Пестрыхъ разсказовъ» имя Антона Павловича Чехова сразу стало извѣстнымъ, хотя оцѣнка новаго дарованія вызывала разнорѣчіе и споры. Вся книга, проникнутая еще какой-то юношеской беззаботностью и, пожалуй, нѣсколько легкимъ отношеніемъ къ жизни и къ литературѣ, сверкала юморомъ, весельемъ, часто неподдѣльнымъ остроуміемъ и необыкновенной сжатостью и силой изображенія. А нотки задумчивости, лиризма и особенной, только Чехову свойствен-

ной печали, уже прокрадывавшіяся кое-гдѣ сквозь яркую смѣшливость,—еще болѣе оттѣняли молодое веселье этихъ, дѣйствительно «пестрыхъ» разсказовъ.

II.

Въ то время въ Петербургѣ издавался журналъ «Сѣверный Вѣстникъ». Издательницей его была А. М. Евреинова, редакція (первоначальная) составилась изъ бывшихъ сотрудниковъ «Отечественныхъ Записокъ». Во главѣ ея стоялъ Ник. Конст. Михайловскій, близкое участіе принималъ Глѣбъ Ив. Успенскій и С. Н. Южаковъ, а въ редактированіи беллетристическаго и стихотворнаго отдѣла участвовалъ А. Н. Плещеевъ. Меня приглашали тоже ближе примкнуть къ этому журналу, и я ѣхалъ въ Петербургъ между прочимъ и по этому поводу. Въ то время я уже прочиталъ разсказы Чехова, и мнѣ захотѣлось проѣздомъ черезъ Москву познакомиться съ ихъ авторомъ.

Въ тѣ годы семья Чеховыхъ жила на Садовой, въ Кудринѣ, въ небольшомъ, красномъ уютномъ домикѣ, какіе, кажется, можно встрѣтить только еще въ Москвѣ. Это былъ каменный особнячокъ, примыкавшій къ большому дому, но самъ составлявшій одну квартиру въ два этажа. Внизу меня встрѣтили сестра Чехова и младшій братъ, Михаилъ Павловичъ, тогда еще студентъ. А черезъ нѣсколько минутъ по лѣстницѣ сверху спустился и Антонъ Павловичъ.

Передо мною былъ молодой и еще болѣе моложавый на видъ человѣкъ, нѣсколько выше средняго роста, съ продолговатымъ, правильнымъ и чистымъ лицомъ, не утратившимъ еще характерныхъ юношескихъ очертаній. Въ этомъ лицѣ было что-то своеобразное, что я

не могъ опредѣлить сразу, и что впослѣдствіи, по моему очень мѣтко, опредѣлила моя жена, тоже при мнѣ познакомившаяся съ Чеховымъ. По ея мнѣнію, въ лицѣ Чехова, несмотря на его несомнѣнную интеллигентность, была какая-то складка, напоминавшая простодушнаго деревенскаго парня. И это было особенно привлекательно. Даже глаза Чехова, голубые, лучистые и глубокіе, свѣтились одновременно мыслью и какой-то особенной, почти дѣтской, непосредственностью. Простота всѣхъ движеній, пріемовъ и рѣчи была господствующей чертой во всей его фигурѣ, какъ и въ его писаніяхъ. Вообще, въ это первое свиданіе Чеховъ произвелъ на меня впечатлѣніе человѣка глубоко жизнерадостнаго. Казалось, изъ глазъ его струится неисчерпаемый источникъ остроумія и непосредственнаго веселья, которымъ были переполнены его разсказы. И вмѣстѣ угадывалось что-то болѣе глубокое, чему еще предстоитъ развернуться и развернуться въ хорошую сторону. Общее впечатлѣніе было цѣльное и обаятельное, несмотря на то, что я сочувствовалъ далеко не всему, что было написано Чеховымъ. Но даже и его тогдашняя «свобода отъ партій», казалось мнѣ, имѣетъ свою хорошую сторону. Русская жизнь закончила съ грѣхомъ пополамъ одинъ изъ своихъ короткихъ цикловъ, по обыкновенію не разрѣшившійся во что-нибудь реальное, и въ воздухѣ чувствовалась необходимость нѣкотораго «пересмотра», чтобы пуститься въ путь дальнѣйшей борьбы и дальнѣйшихъ исканій. И поэтому самая свобода Чехова отъ партій данной минуты, при наличности большого таланта и большой искренности,—казалась мнѣ тогда, признаюсь, нѣкоторымъ преимуществомъ. Все равно, думалъ я,—это ненадолго... Среди его разсказовъ былъ одинъ (кажется, озаглавленный «Встрѣ-

ча»): гдѣ-то на почтовой станціи встрѣчаются неудовлетворенная молодая женщина и скитающійся по свѣту тоже неудовлетворенный, сильно избитый жизнью, русскій «искатель» лучшаго. Типъ былъ только намѣченъ, но онъ изумительно напомнилъ мнѣ одного изъ значительныхъ людей, съ которымъ сталкивала меня судьба. И я былъ пораженъ, какъ этотъ беззаботный молодой писатель сумѣлъ мимоходомъ, безъ опыта, какой-то отгадкой непосредственнаго таланта, такъ вѣрно и такъ мѣтко затронуть самыя интимныя струны этого, все еще не умершаго у насъ, долговѣчнаго рудинскаго типа... И мнѣ Чеховъ казался молодымъ дубкомъ, пускающимъ ростки въ разныя стороны, еще коряво и порой какъ-то безформенно, но въ которомъ уже угадывается крѣпость и цѣльная красота будущаго могучаго роста.

Когда въ Петербургѣ я разсказалъ въ кружкѣ «Сѣвернаго Вѣстника» о своемъ посѣщеніи Чехова и о впечатлѣніи, которое онъ на меня произвелъ,—это вызвало много разговоровъ. Талантъ Чехова признавали всѣ единогласно, но къ тому, на что онъ направитъ еще не опредѣлившуюся большую силу,—относились съ нѣкоторымъ сомнѣніемъ. Отношеніе къ Чехову Михайловскаго читателямъ извѣстно: онъ часто и съ большимъ интересомъ возвращался къ его работамъ, признавалъ огромные размѣры его таланта, но тѣмъ суровѣе отмѣчалъ нѣкоторыя черты, въ которыхъ видѣлъ неправильное отношеніе къ литературѣ и ея назначенію. Ни о комъ, однако, изъ сверстниковъ Михайловскій не писалъ такъ много, какъ о Чеховѣ, а въ послѣдніе годы, какъ это тоже извѣстно, онъ относился къ Чехову съ большой симпатіей... Во всякомъ случаѣ, въ то время, о которомъ я разсказываю, «Сѣверный Вѣстникъ» Михайловскаго хотѣлъ бы видѣть Чехова въ своей средѣ,

и мнѣ пришлось выслушать упрекъ, что во время своего посѣщенія, я (тогда еще новичокъ въ журнальномъ дѣлѣ) не позаботился о приглашеніи Чехова—какъ сотрудника.

Въ слѣдующее свое посѣщеніе я уже заговорилъ съ Чеховымъ объ этомъ «дѣлѣ», но еще раньше меня говорилъ съ нимъ о томъ же А. Н. Плещеевъ, заѣхавшій къ нему проѣздомъ черезъ Москву на Кавказъ. Чеховъ самъ разсказалъ мнѣ объ этомъ свиданіи, подтвердилъ обѣщаніе, данное Плещееву, но вмѣстѣ съ тѣмъ выразилъ нѣкоторое колебаніе. По его словамъ, онъ начиналъ литературную работу почти шутя, смотрѣлъ на нее частію, какъ на наслажденіе и забаву, частію же, какъ на средство для окончанія университетскаго курса и содержанія семьи *).

— Знаете, какъ я пишу свои маленькіе разсказы?.. Вотъ.

Онъ оглянулъ столъ, взялъ въ руки первую попавшуюся на глаза вещь,—это оказалась пепельница,—поставилъ ее передо мною и сказалъ:

— Хотите,—завтра будетъ разсказъ, заглавіе «Пепельница».

И глаза его засвѣтились весельемъ. Казалось, надъ пепельницей начинаютъ уже роиться какіе-то неопредѣленные образы, положенія, приключенія, еще не нашедшіе своихъ формъ, но уже съ готовымъ юмористическимъ настроеніемъ...

Теперь, когда я вспоминаю этотъ разговоръ, небольшую гостиную, гдѣ за самоваромъ сидѣла старуха-мать,

---

*) Въ то время онъ былъ уже врачемъ, хотя и не практиковавшимъ, а братъ его, Михаилъ Павловичъ, начиналъ тоже печататься въ юмористическихъ журналахъ (подъ псевдонимомъ).

сочувственныя улыбки сестры и брата, вообще всю атмосферу сплоченной, дружной семьи, въ центрѣ которой стоялъ этотъ молодой человѣкъ, обаятельный, талантливый, съ такимъ, повидимому, веселымъ взглядомъ на жизнь,—мнѣ кажется, что это была самая счастливая, послѣдняя счастливая полоса въ жизни всей семьи,—радостная идиллія у порога готовой начаться драмы... Въ выраженіи лица и въ манерахъ тогдашняго Чехова мнѣ вспоминается какая-то двойственность: частію это былъ еще беззаботный Антоша Чехонте, веселый, удачливый, готовый посмѣяться между прочимъ надъ «умнымъ дворникомъ», рекомендующимъ въ кухнѣ читать книги, и надъ парикмахеромъ, который во время стрижки узнаетъ, что его невѣста выходитъ за другого, и потому оставляетъ голову кліента недостриженной... Образы тѣснились къ нему веселой и легкой гурьбой, забавляя, но рѣдко волнуя... Они наполняли уютную квартирку и, казалось, приходили въ гости заразъ ко всей семьѣ. Сестра Антона Павловича разсказывала мнѣ, что братъ, комната котораго отдѣлялась отъ ея спальной тонкой перегородкой, часто стучалъ къ ней ночью въ стѣнку, чтобы разсказать тему, а иной разъ и готовый уже разсказъ, внезапно возникшій въ головѣ. И оба удивлялись и радовались неожиданнымъ комбинаціямъ... Но теперь въ этомъ беззаботномъ настроеніи происходила замѣтная перемѣна: и самъ Антонъ Павловичъ, и его семья не могли не замѣтить, что въ рукахъ Антоши не просто забавная и отчасти полезная для семьи игрушка,—но великая драгоцѣнность, обладаніе которой можетъ оказаться очень отвѣтственнымъ. Кажется, въ то время былъ уже напечатанъ (въ «Нов. Времени») очеркъ «Святою ночью», чудная картинка, проникнутая глубоко захватывающей, обаятельной грустью, еще прими-

ряющей и здоровой, но уже какъ небо отъ земли удаленной отъ безпредметно смѣшливаго настроенія большинства «Пестрыхъ разсказовъ». И въ лицѣ Чехова, недавняго беззаботнаго сотрудника «Осколковъ», проступало какое-то особенное выраженіе, которое въ старину назвали бы «первыми отблесками славы»... Я помню, что въ словахъ матери, видимо счастливой и гордившейся успѣхомъ сына, звучали уже грустныя ноты. Мы говорили съ Антономъ Павловичемъ о поѣздкѣ въ Петербургъ и о томъ, гдѣ мы тамъ встрѣтимся, и г-жа Чехова сказала со вздохомъ:

— Да, мнѣ кажется, что Антоша теперь уже не мой...

Какъ это часто бываетъ, у матери было вѣрное предчувствіе...

Мы условились встрѣтиться въ Петербургѣ въ редакціи «Осколковъ», гдѣ я дѣйствительно нашелъ Чехова въ назначенный день, въ кабинетѣ редактора, г-на Лейкина. Здѣсь, между прочимъ, произошелъ небольшой инцидентъ: наканунѣ г. Лейкинъ похвастался передъ Чеховымъ прекраснымъ разсказомъ, присланнымъ въ «Осколки» неизвѣстнымъ еще начинающимъ авторомъ, помнится, изъ Царскаго Села. Редакторъ пришелъ въ восторгъ и пригласилъ автора для личныхъ переговоровъ, съ цѣлью привлечь его къ журналу. Чеховъ захотѣлъ прочитать рукопись. Оказалось, однако, что это былъ просто на просто одинъ изъ его собственныхъ очерковъ, старательно переписанный съ печатнаго и подписанный невѣдомой фамиліей. Лучшій признакъ извѣстности: плагіатъ уже, очевидно, оцѣнилъ новое дарованіе и тянулся къ нему, какъ чужеядное растеніе...

III.

Черезъ нѣкоторое время первый журнальный разсказъ А. П. Чехова былъ написанъ. Назывался онъ «Степью». Во время моего пребыванія въ Петербургѣ А. Н. Плещеевъ получилъ изъ Москвы письмо, въ которомъ Чеховъ писалъ, что работа у него подвигается быстро. «Не знаю, что выйдетъ, но только чувствую, что вокругъ меня пахнетъ степными цвѣтами и травами»,—такъ приблизительно (цитирую на память) опредѣлялъ Чеховъ настроеніе этой своей работы, и это же несомнѣнно чувствуется въ чтеніи. На этомъ первомъ «большомъ» разсказѣ Чехова лежалъ еще, правда, отпечатокъ привычной ему формы. Нѣкоторые критики отмѣчали, что «Степь» это какъ бы нѣсколько маленькихъ картинокъ, вставленныхъ въ одну большую раму. Несомнѣнно однако, что эта большая рама заполнена однимъ и очень выдержаннымъ настроеніемъ. Читатель какъ будто самъ ощущаетъ вѣяніе свободнаго и могучаго степного вѣтра, насыщеннаго ароматомъ цвѣтовъ, самъ слѣдитъ за сверканіемъ въ воздухѣ степной бабочки и за мечтательно-тяжелымъ полетомъ одинокой и хищной птицы, а всѣ фигуры, нарисованныя на этомъ фонѣ, тоже проникнуты оригинальнымъ степнымъ колоритомъ. Младшій Чеховъ (Михаилъ Павловичъ) говорилъ мнѣ, вскорѣ послѣ того, какъ разсказъ появился въ «Сѣверномъ Вѣстникѣ», что въ немъ очень много автобіографическихъ личныхъ воспоминаній.

Есть въ немъ, между прочимъ, одна подробность, которая казалась мнѣ очень характерной для тогдашняго Чехова. Въ разсказѣ фигурируетъ Дениска, молодой крестьянскій парень. Выступаетъ онъ въ роли ку-

чера, но дѣло, конечно, не въ этомъ, а въ темпераментѣ. Бричка съ путниками останавливается въ степи на привалъ въ знойный, удушливый полдень. Горячіе лучи жгутъ головы, откуда-то несется пѣсня, «тихая, тягучая и заунывная, похожая на плачъ и едва уловимая слухомъ... Точно надъ степью носился невидимый духъ и пѣлъ», или сама она, «выжженная, полумертвая, уже погибшая, безъ словъ, но жалобно и искренно убѣждала кого-то, что она ни въ чемъ не виновата, что солнце выжгло ее понапрасну... вины не было, но она всетаки просила у кого-то прощенія и клялась, что ей невыносимо больно, грустно и жалко себя»... Въ это время Дениска просыпается первымъ изъ отдыхающихъ путниковъ. Онъ подходитъ къ ручью, пьетъ, аппетитно умывается, плескаясь и фыркая. Несмотря на зной, на тоскливый пейзажъ, на еще болѣе тоскливую пѣсню, неизвѣстно откуда несущуюся и говорящую о неизвѣстной винѣ, Дениска переполненъ ощущеніемъ бодрости и силы.

— А ну, кто скорѣе доскачетъ до осоки!—говоритъ онъ Егорушкѣ, главному герою разсказа, и не только одерживаетъ побѣду надъ усталымъ отъ зноя Егорушкой, но, не довольствуясь этимъ, предлагаетъ такъ же скакать обратно.

Я какъ-то шутя сказалъ Чехову, что онъ самъ похожъ на своего Дениску. И дѣйствительно, въ самый разгаръ 80-хъ годовъ, когда общественная жизнь такъ похожа была на эту степь съ ея безмолвной истомой и тоскливой пѣснью, онъ явился беззаботный, веселый, съ избыткомъ бодрости и силы. То и дѣло у него неизвѣстно откуда являлись разные проекты и притомъ какъ-то сразу, въ готовомъ видѣ, съ мелкими деталями... Однажды онъ сталъ развивать передо мною планъ жур-

нала, въ которомъ будутъ участвовать беллетристы, числомъ 25 «и всѣ начинающіе, вообще молодые». Въ другой разъ, устремивъ на меня свои прекрасные глаза съ выраженіемъ внезапно созрѣвающей мысли, онъ сказалъ:

— Слушайте, Короленко... Я пріѣду къ вамъ въ Нижній.

— Буду очень радъ. Смотрите же—не обманите.

— Непремѣнно пріѣду... Будемъ вмѣстѣ работать. Напишемъ драму. Въ четырехъ дѣйствіяхъ. Въ двѣ недѣли.

Я засмѣялся. Это былъ опять Дениска.

— Нѣтъ, Антонъ Павловичъ. Мнѣ за вами не ускакать. Драму вы пишите одинъ, а въ Нижній все-таки пріѣзжайте.

IV.

Онъ сдержалъ слово, пріѣхалъ въ Нижній и очаровалъ всѣхъ, кто его въ это время видѣлъ. А въ слѣдующій свой пріѣздъ въ Москву я засталъ его уже за писаніемъ драмы. Онъ вышелъ изъ своего рабочаго кабинета, но удержалъ меня за руку, когда я, не желая мѣшать, собрался уходить.

— Я дѣйствительно пишу и непремѣнно напишу драму,—сказалъ онъ,—«Иванъ Ивановичъ Ивановъ»... Понимаете? Ивановыхъ тысячи... обыкновеннѣйшій человѣкъ, совсѣмъ не герой... И это именно очень трудно... Бываетъ ли у васъ такъ: во время работы, между двумя эпизодами, которые видишь ясно въ воображеніи,—вдругъ пустота...

— Черезъ которую,—сказалъ я,—приходится строить мостки уже не воображеніемъ, а логикой?..

— Вотъ, вотъ...

— Да, бываетъ, но я тогда бросаю работу и жду.

— Да, а вотъ въ драмѣ безъ этихъ мостковъ не обойдешься...

Онъ казался нѣсколько разсѣяннымъ, недовольнымъ и, какъ будто, утомленнымъ. Дѣйствительно, первая драма далась Чехову трудно и повлекла за собою первыя же серьезныя чисто литературныя волненія и огорченія. Не говоря о заботахъ сценической постановки, о терзаніяхъ автора, видящаго, какъ далеко слово отъ образа, а театральное исполненіе отъ слова, — въ этой драмѣ впервые сказался переломъ въ настроеніи Чехова. Я помню, какъ много писали и говорили о нѣкоторыхъ безпечныхъ выраженіяхъ Иванова, напр., о фразѣ: «другъ мой, послушайте моего совѣта: не женитесь ни на еврейкахъ, ни на психопаткахъ, ни на курсисткахъ»... Правда, это говоритъ Ивановъ, но русская жизнь такъ болѣзненно чутка къ нѣкоторымъ наболѣвшимъ вопросамъ, что публика не хотѣла отдѣлить автора отъ героя; да, сказать правду, въ «Ивановѣ» не было той непосредственности и беззаботной объективности, какая сквозила въ прежнихъ призведеніяхъ Чехова. Драма русской жизни захватывала въ свой широкій водоворотъ вышедшаго на ея арену писателя: въ его произведеніи чувствовалось невольно вѣяніе какой-то тенденціи, чувствовалось, что авторъ и нападаетъ и защищаетъ, и споръ шелъ о томъ, что онъ защищаетъ и на что нападаетъ. Вообще, эта первая драма, которую Чеховъ передѣлывалъ нѣсколько разъ, можетъ дать цѣнный матеріалъ для вдумчиваго біографа, который пожелаетъ прослѣдить исторію душевнаго перелома, приведшаго Чехова отъ «Новаго Времени», въ которомъ онъ охотно писалъ въ началѣ и куда не давалъ ни

строчки въ послѣдніе годы,—въ «Русскія Вѣдомости», въ «Жизнь» и въ «Русскую Мысль»... Беззаботная непосредственность роковымъ образомъ кончалась, начиналась тоже роковымъ образомъ рефлексія и тяжелое сознаніе отвѣтственности таланта.

Слѣдующій за «Степью» разсказъ «Именины» былъ тоже напечатанъ въ «Сѣверномъ Вѣстникѣ». За нимъ слѣдовалъ третій, заглавія котораго я теперь не помню. Его настроеніе значительно усложнялось, а пожалуй и омрачалось нѣсколько циничными, но еще болѣе грустно-скептическими нотами. Остальное памятно, безъ сомнѣнія, всей читающей Россіи. За «Пестрыми разсказами» послѣдовалъ сборникъ съ характернымъ названіемъ: «Въ сумеркахъ». Затѣмъ «Хмурые люди»; затѣмъ въ «Русской Мысли» появилась «Палата № 6-й»,—произведеніе поразительное по захватывающей силѣ и глубинѣ, съ какимъ выражено въ немъ новое настроеніе Чехова, которое я назвалъ бы настроеніемъ второго періода. Оно совершенно опредѣлилось, и всѣмъ стала ясна неожиданная перемѣна: человѣкъ, еще такъ недавно подходившій къ жизни съ радостнымъ смѣхомъ и шуткой, беззаботно веселый и остроумный, при болѣе пристальномъ взглядѣ въ глубину жизни неожиданно почувствовалъ себя пессимистомъ. Къ третьему періоду я бы отнесъ разсказы, а пожалуй и драмы послѣднихъ годовъ, въ которыхъ звучитъ и стремленіе къ лучшему, и вѣра въ него, и надежда. Черезъ дымку грусти, порой очень красивой, порой разъѣдающей и острой и всегда поэтической, эта надежда сквозитъ, какъ куполы церквей дальняго города, едва видные сквозь знойную пыль и удушливый туманъ труднаго пути... И надъ всѣмъ царитъ меланхолическое сознаніе:

Жаль только: жить въ эту пору прекрасную
Ужъ не придется ни мнѣ, ни тебѣ...

V.

Послѣ этихъ первыхъ встрѣчъ, довольно частыхъ вначалѣ нашего знакомства, мы видѣлись съ Чеховымъ все рѣже и рѣже. Наши литературныя связи и симпатіи (я говорю о личныхъ связяхъ и симпатіяхъ въ литературной средѣ) въ концѣ 80-хъ и началѣ 90-хъ годовъ были различны, и выходило такъ, что онѣ перекрещивались рѣдко также и впослѣдствіи, когда онъ сошелся съ родственными и мнѣ литературными кругами. Я тогда же (т. е. въ концѣ 80-хъ годовъ) сдѣлалъ было попытку свести Чехова съ Михайловскимъ и Успенскимъ. Мы вмѣстѣ отправились съ нимъ въ назначенный часъ въ Палерояль, гдѣ тогда жилъ Михайловскій и гдѣ мы уже застали Глѣба Ивановича Успенскаго и Александру Аркадьевну Давыдову (впослѣдствіи издательницу журнала «Міръ Божій»). Но изъ этого какъ-то ничего не вышло. Глѣбъ Ивановичъ сдержанно молчалъ (тогда у него начинали уже появляться признаки сильной душевной усталости и, пожалуй, предвѣстники болѣзни). Михайловскій одинъ поддерживалъ разговоръ и даже Александра Аркадьевна,—человѣкъ вообще необыкновенно деликатный и тактичный,—задѣла тогда Чехова какимъ-то рѣзкимъ замѣчаніемъ относительно одного изъ тогдашнихъ его литературныхъ друзей. Когда Чеховъ ушелъ, я почувствовалъ, что попытка не удалась. Глѣбъ Ивановичъ, съ которымъ мы вмѣстѣ вышли отъ Михайловскаго, замѣтилъ, съ своей обычной чуткостью, что я огорченъ, и сказалъ:

— Вы любите Чехова?

Я попытался изобразить то чувство, которое у меня было къ Чехову, и то впечатлѣніе, какое онъ на меня производитъ. Онъ слушалъ съ обычнымъ своимъ задумчивымъ вниманіемъ и сказалъ:

— Это хорошо...—но самъ остался сдержаннымъ. Теперь я понимаю, что веселость тогдашняго Чехова, Чехова «Пестрыхъ разсказовъ»—была чужда и непріятна Успенскому. Самъ онъ когда-то былъ полонъ глубокаго и своеобразнаго юмора, острота котораго очень рано перешла въ горечь. Михайловскій чрезвычайно вѣрно и чрезвычайно мѣтко обрисовалъ въ статьѣ объ Успенскомъ ту цѣломудренную сдержанность, съ какой онъ сознательно обуздывалъ свою склонность къ смѣшнымъ положеніямъ и юмористическимъ образамъ изъ боязни профанировать скорбные мотивы злополучной русской дѣйствительности. Хорошо это или плохо,—я здѣсь разсуждать не буду. Думаю, конечно, что было бы превосходно, еслибы люди съ такими природными залежами смѣха въ душѣ находили въ себѣ и въ окружающей атмосферѣ достаточно силы, чтобы побѣдить великое уныніе русской жизни своимъ еще болѣе сильнымъ смѣхомъ. Тогда мы имѣли бы, можетъ быть, міровые шедевры сатирической литературы. Но... мечтать можно о чемъ угодно, а фактъ всетаки состоитъ въ томъ, что современное русское уныніе само побѣждаетъ русскій юморъ, и это съ неизбѣжностью рокового закона отразилось,—къ сожалѣнію, даже слишкомъ скоро—на самомъ Чеховѣ. Но въ то время еще было иначе, и я помню, съ какимъ скорбнымъ недоумѣніемъ и какъ пытливо глубокіе глаза Успенскаго останавливались на открытомъ, жизнерадостномъ лицѣ этого талантливаго выходца изъ какого-то другого міра, гдѣ еще могутъ смѣяться такъ беззаботно. Чеховъ тоже инстинктивно сторонился отъ назрѣвшаго

уже въ Успенскомъ настроенія, которое сторожило его самого, и—они разошлись холодно, пожалуй съ безотчетнымъ нерасположеніемъ другъ къ другу.

Теперь нѣтъ уже обоихъ. Успенскій умеръ раньше, могила Чехова еще не закрылась, когда я пишу эти строки... Но оба сошли со сцены съ надеждой на будущее и со жгучей скорбью о настоящемъ.

Вспоминается мнѣ еще одинъ разговоръ съ Чеховымъ о Гаршинѣ. Не помню, было-ли это послѣ смерти Гаршина или подъ конецъ его омраченной жизни... Я недавно вернулся изъ Сибири и во мнѣ еще живы были и свѣжи глубокія впечатлѣнія отъ ея величаво угрюмой природы и ея людей. И мнѣ казалось, что, если-бы можно было отвлечь Гаршина отъ мучительныхъ впечатлѣній нашей дѣйствительности, удалить на время отъ литературы и политики, а главное—снять съ усталой души то сознаніе общей отвѣтственности, которое такъ угнетаетъ русскаго человѣка съ чуткой совѣстью... еслибы, взамѣнъ этого поставить его лицомъ къ лицу только съ первобытной природой и первобытнымъ человѣкомъ,—то, думалось мнѣ, больная душа могла бы еще расправиться. Но Чеховъ возразилъ съ категоричностью врача:

— Нѣтъ, это дѣло непоправимое: раздвинулись какія-то молекулярныя частицы въ мозгу, и ужъ ничѣмъ ихъ не сдвинешь...

Впослѣдствіи мнѣ часто вспоминались эти слова. Черезъ годъ-два «раздвинулись частицы» у Успенскаго и, сколько ни искалъ онъ исцѣленія во «врачующемъ просторѣ» родины, какъ ни метался по степямъ и ущельямъ Южнаго Урала, по горнымъ хребтамъ Кавказа, по Волгѣ и «захолустнымъ рѣкамъ» средней Россіи,—ему не удалось стряхнуть все глубже въѣдавшейся въ душу тоски, какъ и сознанія «общей отвѣтственности» передъ

правдой жизни за всѣ ея неправды. А затѣмъ—«раздвинулись частицы» и у Чехова. Правда это были частицы легкихъ, а не мозга, ясность котораго онъ сохранилъ до конца. Но кто скажетъ, какую роль въ физической болѣзни играла та глубокая разъѣдающая грусть, на фонѣ которой совершались у Чехова всѣ душевные, а значитъ и физическіе процессы...

Мои встрѣчи съ Чеховымъ во второй половинѣ 90-хъ годовъ уже были не часты и случайны. Въ періодъ уже опредѣлившейся болѣзни мы встрѣтились только 3—4 раза. Одинъ разъ, это было въ 1897 г., въ редакціи «Русской Мысли». Въ то время я тоже былъ боленъ. Чеховъ разспрашивалъ меня со вниманіемъ товарища и врача и, выйдя изъ редакціи, на улицѣ задушевно пожалъ мнѣ руку и сказалъ:

— Ничего... вы поправитесь, увѣряю васъ,—вы поправитесь.

— И вы тоже поправитесь, Антонъ Павловичъ!..—сказалъ я съ вѣрой, истекавшей изъ сильнаго желанія вѣрить.

— Да, да, надѣюсь... Мнѣ и теперь лучше,—отвѣтилъ онъ, и мы разстались.

Въ послѣдній разъ я видѣлъ его два года назадъ, въ Ялтѣ, куда я пріѣхалъ для разговора объ одномъ общемъ заявленіи. Чеховъ написалъ мнѣ, что хочетъ заѣхать въ Полтаву, и я предупредилъ его, зная, какъ ему это трудно. Онъ жилъ на своей дачѣ, которую построилъ (по художнически непрактично) подъ Ялтой; съ нимъ жили сестра и жена. Какъ и въ первую нашу встрѣчу сестра Чехова встрѣтила меня внизу, какъ и тогда Чеховъ спустился по лѣстницѣ сверху. У меня сжалось сердце при этомъ воспоминаніи. Это былъ тотъ же Чеховъ, но куда дѣвалась его увѣренная, спокойная

жизнерадостность? Черты обострились, стали какъ будто жестче, и только глаза все еще порой лучились и ласкали. Но и въ нихъ чаще виднѣлось застывшее выраженіе грусти. Сестра разсказывала, что по временамъ онъ сидитъ цѣлые часы, глядя въ одну точку... Во время разговора онъ взялъ лежавшую на столѣ книгу, недавно рекомендованную русскому читателю Л. Н. Толстымъ.

— Поленца, «Крестьянинъ». Читали? Хорошая книга,—сказалъ онъ.—Вотъ еслибы мнѣ еще написать одну такую книгу... я считалъ бы, что этого довольно. Можно умереть.

Онъ умеръ раньше...

VI.

И опять невольно приходитъ въ голову сопоставленіе: Гоголь, Успенскій, Щедринъ, теперь—Чеховъ. Этими именами почти исчерпывается рядъ выдающихся русскихъ писателей съ сильно выраженнымъ юмористическимъ темпераментомъ. Двое изъ нихъ кончили прямо острой меланхоліей, двое другихъ безпросвѣтной тоской. Пушкинъ называлъ Гоголя «веселымъ меланхоликомъ», и это мѣткое опредѣленіе относится одинаково ко всѣмъ перечисленнымъ писателямъ... Гоголь, Успенскій, Щедринъ и Чеховъ...

Неужели въ русскомъ смѣхѣ есть въ самомъ дѣлѣ что-то роковое? Неужели реакція прирожденнаго юмора на русскую дѣйствительность,—употребляя терминологію химиковъ,—неизбѣжно даетъ ядовитый осадокъ разрушающій всего сильнѣе тотъ сосудъ, въ которомъ она совершается, т. е. душу писателя?..

Читатель проститъ мнѣ эти, можетъ быть, безсвяз-

ныя и безпорядочныя строки, лишенныя претензіи разобраться до конца въ характерѣ и размѣрахъ понесенной русскою литературою утраты. Разбираться придется еще много и процессъ этотъ большой и сложный. Эти строки продиктованы только личными воспоминаніями о встрѣчахъ, которымъ уже не суждено повториться.

Библиотека 12-й школы Смольн. о-ва
№ 497
Ленинград
5787

(10)

3470
U8Z64

PG 3470 .U8 Z64 C.1
Otoshedshie :
Stanford University Libraries
3 6105 035 769 715

DATE DUE		
SEP 26 1983		

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA
94305

ИК-506569